



КНИГА  
  
НА ВСЕ  
ВРЕМЕНА

# Эрих Мария РЕМАРК

Земля  
обетованная

Эрих Мария Ремарк  
**Земля обетованная**

«АСТ»

1998

**Ремарк Э.**

Земля обетованная / Э. Ремарк — «АСТ», 1998

ISBN 978-5-17-070536-8

«Земля обетованная» – роман, опубликованный уже после смерти великого немецкого писателя. Судьба немецких эмигрантов в Америке. Они бежали от фашизма, используя все возможные и невозможные способы и средства. Бежали к последнему бастиону свободы и независимости. Однако Америка почему-то не спешит встретить их восторгами. Беглецов ждет... благопристойное и дружелюбное равнодушие обитателей страны, давно забывшей, что такое война и тоталитарный режим. И каждому из эмигрантов предстоит заново строить жизнь там, где им предлагают только одно – самим о себе позаботиться.

ISBN 978-5-17-070536-8

© Ремарк Э., 1998

© АСТ, 1998

## Содержание

I	6
II	14
III	24
IV	36
V	45
VI	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# **Эрих Мария Ремарк**

## **Земля обетованная**

Erich Maria Remarque DAS GELOBTE LAND

First published in the German language

Печатается с разрешения издательства

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG.

## I

Третью неделю я смотрел на этот город: он лежал передо мной как на ладони – и словно на другой планете. Всего лишь в нескольких километрах от меня, отделенный узким рукавом морского залива, который я, пожалуй, мог бы и переплыть, – и все же недостижимый и недоступный, будто окруженный армадой танков. Он был защищен самыми надежными бастиями, какие изобрело двадцатое столетие, – крепостными стенами бумаг, паспортных предписаний и бесчеловечных законов непрошибаемо бездушной бюрократии. Я был на острове Эллис<sup>1</sup>, было лето 1944 года, и передо мной лежал город Нью-Йорк.

Из всех лагерей для интернированных лиц, какие мне доводилось видеть, остров Эллис был самым гуманным. Тут никого не били, не пытали, не истязали до смерти непосильной работой и не травили в газовых камерах. Здешним обитателям даже предоставлялось хорошее питание, причем бесплатно, и постели, в которых разрешалось спать. Повсюду, правда, торчали часовые, но они были почти любезны. На острове Эллис содержались прибывшие в Америку иностранцы, чьи бумаги либо внушали подозрение, либо просто были не в порядке. Дело в том, что одной только въездной визы, выданной американским консульством в европейской стране, для Америки было недостаточно, – при въезде в страну следовало еще раз пройти проверку нью-йоркского иммиграционного бюро и получить разрешение. Только тогда тебя впускали – либо, наоборот, объявляли нежелательным лицом и с первым же кораблем высылали обратно. Впрочем, с отправкой обратно все давно уже обстояло совсем не так просто, как раньше. В Европе шла война, Америка тоже увязла в этой войне по уши, немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике, так что пассажирские суда к европейским портам назначения отплывали отсюда крайне редко. Для иных бедолаг, которым было отказано во въезде, это означало пусть крохотное, но счастье: они, давно уже привыкшие исчислять свою жизнь только днями и неделями, обретали надежду еще хоть какое-то время побыть на острове Эллис. Впрочем, вокруг ходило слишком много всяких прочих слухов, чтобы тешить себя такой надеждой, – слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами бороздят океан и которым, куда бы они ни приплыли, нигде не дают причалить. Некоторые из эмигрантов уверяли, будто своими глазами видели – кто на подходе к Кубе, кто возле портов Южной Америки – эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытые для них гавани, – этих горестных «летучих голландцев» наших дней, уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия, перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась лишь в том, что они люди и жаждут жизни.

Разумеется, не обходилось и без нервных срывов. Станным образом здесь, на острове Эллис, они случались даже чаще, чем во французских лагерях, когда немецкие войска и гестапо стояли совсем рядом, в нескольких километрах. Вероятно, во Франции эта сопротивляемость собственным нервам была как-то связана с умением человека приспосабливаться к смертельной опасности. Там дыхание смерти ощущалось столь явно, что, должно быть, заставляло человека держать себя в руках, зато здесь люди, только-только расслабившиеся при виде столь близкого спасения, спустя короткое время, когда спасение вдруг начинало снова от них ускользать, теряли самообладание начисто. Впрочем, в отличие от Франции, на острове Эллис не случилось самоубийств – наверное, все-таки еще слишком сильна была в людях надежда, пусть и

---

<sup>1</sup> Небольшой остров в заливе Аппер-Бэй близ Нью-Йорка, к югу от южной оконечности Манхэттена; в 1892–1943 гг. – главный центр по приему иммигрантов в США, до 1954 г. – карантинный лагерь. – *Здесь и далее примеч. ред.*

пронизанная отчаянием. Зато первый же невинный допрос у самого безобидного инспектора мог повлечь за собой истерику: недоверчивость и бдительность, накопленные за годы изгнания, на мгновение давали трещину, и после этого вспышка нового недоверия, мысль, что ты совершил непоправимую ошибку, повергала человека в панику. Обычно у мужчин нервные срывы случались чаще, чем у женщин.

Город, лежавший столь близко и при этом столь недоступный, становился чем-то вроде морока – он мучил, манил, издевался, все суля и ничего не исполняя. То, окруженный стайками клочковатых облаков и сиплыми, будто рев стальных ихтиозавров, гудками кораблей, он представлял громадным расплывчатым чудищем, то, глубокой ночью, оцетиниваясь сотней башен бесшумного и призрачного Вавилона, превращался в белый и неприступный лунный ландшафт, а то, поздним вечером, утопая в буране искусственных огней, становился искрометным ковром, распростертым от горизонта до горизонта, чуждым и ошеломляющим после непроглядных военных ночей Европы, – об эту пору многие беженцы в спальном зале вставали, разбуженные всхлипами и вскриками, стонами и хрипом своих беспокойных соседей, тех, кого все еще преследовали во сне гестаповцы, жандармы и головорезы-эсэсовцы, и, сбилаясь в темные людские горстки, тихо переговариваясь или молча, вперив горящий взгляд в зыбкое марево на том берегу, в ослепительную световую панораму земли обетованной – Америки, застывали возле окон, объединенные немим братством чувств, в которое сводит людей только горе, счастье же – никогда.

У меня был немецкий паспорт, годный еще на целых четыре месяца. Этот почти подлинный документ был выдан на имя Людвиг Зоммера. Я унаследовал его от друга, умершего два года назад в Бордо; поскольку указанные в паспорте внешние приметы – рост, цвет волос и глаз – совпадали, некто Бауэр, лучший в Марселе специалист по подделке документов, а в прошлом профессор математики, посоветовал мне фамилию и имя в паспорте не менять; и хотя среди тамошних эмигрантов было несколько отличных литографов, сумевших уже не одному беспаспортному беженцу выправить вполне сносные бумаги, я все-таки предпочел последовать совету Бауэра и отказаться от собственного имени, тем более что от него все равно уже не было почти никакого толку. Наоборот, это имя значилось в списках гестапо, посему испариться ему было самое время. Так что паспорт у меня имелся почти подлинный, зато фото и я сам малость фальшивили. Умелец Бауэр растолковал мне выгоды моего положения: сильно подделанный паспорт, как бы замечательно он ни был сработан, годен только на случай беглой и небрежной проверки – всякой сколько-нибудь дельной криминалистической экспертизе он противостоять не в силах и неминуемо выдаст все свои тайны; тюрьма, депортация, если не что похуже, мне в этом случае обеспечены. А вот проверка подлинного паспорта при фальшивом обладателе – история куда более длинная и хлопотная: по идее, следует направить запрос по месту выдачи, но сейчас, когда идет война, об этом и речи быть не может. С Германией нет никаких связей. Все знатоки решительно советуют менять не паспорта, а личность; подлинность штемпелей стало проверять легче, чем подлинность имен. Единственное, что в моем паспорте не сходилось, так это вероисповедание. У Зоммера оно было иудейское, у меня – нет. Но Бауэр посчитал, что сие несущественно.

– Если немцы вас схватят, вы просто выбросите паспорт, – учил он меня. – Поскольку вы не обрезаны, то, глядишь, как-нибудь вывернетесь и не сразу угодите в газовую камеру. Зато пока вы от немцев убегаете, то, что вы еврей, вам даже на пользу. А невежество по части обычаев объясняйте тем, что ваш отец и сам был вольнодумцем, и вас так воспитал.

Бауэра через три месяца схватили. Роберт Хирш, вооружившись бумагами испанского консула, попытался вызволить его из тюрьмы, но опоздал. Накануне вечером Бауэра с эшелонном отправили в Германию.



На острове Эллис я повстречал двух эмигрантов, которых мельком знал и прежде. Случалось нам несколько раз повидаться на «страстном пути». Так назывался один из этапов маршрута, по которому беженцы спасались от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию и Северную Францию маршрут вел в Париж и там разделялся. Из Парижа одна линия вела через Лион к побережью Средиземного моря; вторая, проскочив Бордо, Марсель и перевалив Пиренеи, убегала в Испанию, Португалию и утыкалась в лиссабонский порт. Вот этот-то маршрут и окрестили «страстным путем». Тем, кто им следовал, приходилось спасаться не только от гестапо – надо было еще не угодить в лапы местным жандармам. У большинства ведь не было ни паспортов, ни тем более виз. Если такие попадались жандармам, их арестовывали, приговаривали к тюремному заключению и выдворяли из страны. Впрочем, во многих странах у властей хватало гуманности доставлять их по крайней мере не к немецкой границе – иначе они неминуемо погибли бы в концлагерях. Поскольку очень немногие из беженцев имели возможность взять с собой в дорогу пригодный паспорт, едва ли не все были обречены почти непрерывно скитаться и прятаться от властей. Ведь без документов они не могли получить никакой легальной работы. Большинство страдали от голода, нищеты и одиночества, вот они и называли дорогу своих скитаний «страстным путем». Их остановками на этом пути были главпочтамты в городах и стены вдоль дорог. На главпочтамтах они надеялись получить корреспонденцию от родных и друзей; стены домов и оград вдоль шоссе служили им газетами. Мелом и углем запечатлевались на них имена потерявшихся и искавших друг друга, предостережения, наставления, вопли в пустоту – все эти горькие приметы эпохи людского равнодушия, за которой вскоре последовала эпоха бесчеловечности, то бишь война, когда по обе стороны фронта гестаповцы и жандармы нередко делали одно общее дело.

Одного из этих эмигрантов, увиденных на острове Эллис, я, помнится, встретил на швейцарской границе, когда в течение одной ночи таможенники четыре раза отправляли нас во Францию. А там французские пограничники ловили нас и гнали обратно. Холод был жуткий, и в конце концов мы с Рабиновичем кое-как уговорили швейцарцев посадить нас в тюрьму. В швейцарских тюрьмах топили, для беженцев это был просто рай, мы с превеликой радостью провели бы там всю зиму, но швейцарцы, к сожалению, очень практичны. Они быстренько сбаврили нас через Тессин<sup>2</sup> в Италию, где мы и расстались. У обоих этих эмигрантов были в Америке родственники, которые дали за них финансовые ручательства. Поэтому уже через несколько дней их выпустили с острова Эллис. На прощанье Рабинович пообещал мне поискать в Нью-Йорке общих знакомых, товарищей по эмигрантскому несчастью. Я не придавал его словам никакого значения. Обычное обещание, о котором забываешь при первых же шагах на свободе.

Несчастливым, однако, я себя здесь не чувствовал. За несколько лет до того, в брюссельском музее, я научился часами сидеть в неподвижности, сохраняя каменную невозмутимость. Я погружался в абсолютно бездумное состояние, граничившее с полной отрешенностью. Глядя на себя как бы со стороны, я впадал в тихий транс, который смягчал неослабную судорогу долгого ожидания: в этой странной шизофренической иллюзии мне под конец даже начинало чудиться, что это жду вовсе не я, а кто-то другой. И тогда одиночество и теснота крошечной кладовки без света уже не казались непереносимыми. В эту кладовку меня спрятал директор музея, когда гестаповцы в ходе очередной облавы на эмигрантов прочесывали весь Брюссель квартал за кварталом. Мы с директором виделись считанные секунды, только утром и вечером: утром он приносил мне что-нибудь поесть, а вечером, когда музей закрывался, он меня выпускал. В течение дня кладовка была заперта; ключ был только у директора. Конечно, когда кто-то

<sup>2</sup> Кантон в Швейцарии, граничащий с Италией.



шел по коридору, мне нельзя было кашлять, чихать и громко шевелиться. Это было нетрудно, но щека страха, донимавшая меня поначалу, легко могла перейти в панический ужас при приближении действительно серьезной опасности. Вот почему в деле накопления психической устойчивости я на первых порах зашел, пожалуй, даже дальше, чем нужно, строго-настрого запретив себе смотреть на часы, так что иной раз, особенно по воскресеньям, когда директор ко мне не приходил, вообще не знал, день сейчас или ночь, – к счастью, у меня хватило ума вовремя отказаться от этой затеи. В противном случае я неминуемо утратил бы последние остатки душевного равновесия и вплотную приблизился бы к той трясине, за которой начинается полная утрата собственной личности. А я и так от нее никогда особо не удалялся. И удерживала меня вовсе не вера в жизнь; надежда на отмщение – вот что меня спасало.

Неделю спустя со мной вдруг заговорил тощий, покойнического вида господин, смахивавший на одного из тех адвокатов, что стаями ненасытного воронья кружили по нашему просторному дневному залу. При себе он имел плоский чемоданчик-дипломат зеленой крокодиловой кожи.

– Вы, случайно, не Людвиг Зоммер?

Я недоверчиво оглядел незнакомца. Говорил он по-немецки.

– А вам-то что?

– Вы не знаете, Людвиг Зоммер вы или кто-то еще? – переспросил он и хохотнул своим коротким, каркающим смехом. Поразительно белые, крупные зубы плохо вязались с его серым, помятым лицом.

Я тем временем успел прикинуть, что особых причин утаивать свое имя у меня вроде бы нет.

– Это-то я знаю, – отозвался я. – Только вам зачем это знать?

Незнакомец несколько раз сморгнул, как сова.

– Я по поручению Роберта Хирша, – объявил он наконец.

Я изумленно вскинул глаза.

– От Хирша? Роберта Хирша?

Незнакомец кивнул.

– От кого же еще?

– Роберт Хирш умер, – сказал я.

Теперь уже незнакомец глянул на меня озадаченно.

– Роберт Хирш в Нью-Йорке, – заявил он. – Не далее как два часа назад я с ним беседовал. Я тряхнул головой.

– Исключено. Тут какая-то ошибка. Роберта Хирша расстреляли в Марселе.

– Глупости. Это Хирш послал меня сюда помочь вам выбраться с острова.

Я ему не верил. Я чувствовал, что тут какая-то ловушка, подстроенная инспекторами.

– Откуда бы ему знать, что я вообще здесь? – спросил я.

– Человек, представившийся Рабиновичем, позвонил ему и сказал, что вы здесь. – Незнакомец достал из кармана визитную карточку. – Я Левин из «Левина и Уотсона». Адвокатская контора. Мы оба адвокаты. Надеюсь, этого вам достаточно? Вы чертовски недоверчивы. С чего бы вдруг? Неужто столько всего скрываете?

Я перевел дух. Теперь я ему поверил.

– Всею Марселью было известно, что Роберта Хирша расстреляли в гестапо, – повторил я.

– Подумаешь, Марсель! – презрительно хмыкнул Левин. – Мы тут в Америке!

– В самом деле? – Я выразительно оглядел наш огромный дневной зал с его решетками на окнах и эмигрантами вдоль стен.

Левин снова издал свой каркающий смешок.

– Ну, пока еще не совсем. Как вижу, чувство юмора вы еще не утратили. Господин Хирш успел кое-что о вас порассказать. Вы ведь были вместе с ним в лагере для интернированных во Франции. Это так?

Я кивнул. Я все еще не мог толком прийти в себя. «Роберт Хирш жив! – вертелось у меня в голове. – И он в Нью-Йорке!»

– Так? – нетерпеливо переспросил Левин.

Я снова кивнул. Вообще-то это было так только наполовину: Хирш пробыл в том лагере не больше часа. Он приехал туда, переодевшись в форму офицера СС, чтобы потребовать от французского коменданта выдать ему двух немецких политэмигрантов, которых разыскивало гестапо. И вдруг увидел меня – он не знал, что я в лагере. Глазом не моргнув Хирш тут же потребовал и моей выдачи. Комендант, пугливый майор-резервист, давно уже сытый всем по горло, перечить не стал, но настоял на том, чтобы ему оставили официальный акт передачи. Хирш ему такой акт дал – он всегда имел при себе уйму самых разных бланков, подлинных и фальшивых. Потом отсалютовал гитлеровским «хайль!», затолкал нас в машину и был таков. Обоих политиков год спустя взяли снова: они в Бордо угодили в гестаповскую западню.

– Да, это так, – сказал я. – Могу я взглянуть на бумаги, которые вам дал Хирш?

Левин секунду колебался.

– Да, конечно. Только зачем вам?

Я не ответил. Я хотел убедиться, совпадает ли то, что написал обо мне Роберт, с тем, что сообщил о себе инспекторам я. Я внимательно прочел листок и вернул его Левину.

– Все так? – спросил он снова.

– Так, – ответил я и огляделся. Как же мгновенно все вокруг изменилось! Я больше не один. Роберт Хирш жив. До меня вдруг долетел голос, который я считал умолкнувшим навсегда. Теперь все по-другому. И ничто еще не потеряно.

– Сколько у вас денег? – поинтересовался адвокат.

– Сто пятьдесят долларов, – осторожно ответил я.

Левин покачал своей лысиной.

– Маловато даже для самой краткосрочной транзитно-гостевой визы, чтобы проехать в Мексику или Канаду. Но ничего, это еще можно уладить. Вы чего-то не понимаете?

– Не понимаю. Зачем мне в Канаду или в Мексику?

Левин снова ослабил свои лошадиные зубы.

– Совершенно незачем, господин Зоммер. Главное для начала переправить вас в Нью-Йорк. Краткосрочную транзитную визу запросить легче всего. А уж оказавшись в стране, вы ведь можете и заболеть. Да так, что не в силах будете продолжить путешествие. И придется подавать запрос на продление визы, а потом еще. Ситуация может измениться. Ногу в дверь просунуть – вот что покамест самое главное! Теперь понимаете?

– Да.

Мимо нас с громким плачем прошла женщина. Левин извлек из кармана очки в черной роговой оправе и посмотрел ей вслед.

– Не слишком-то весело тут торчать, верно?

Я передернул плечами.

– Могло быть хуже.

– Хуже? Это как же?

– Много хуже, – пояснил я. – Можно, живя здесь, умирать от рака желудка. Или, к примеру, остров Эллис мог бы оказаться в Германии, и тогда вашего отца у вас на глазах приколачивали бы к полу гвоздями, чтобы заставить вас признаться.

Левин посмотрел на меня в упор.

– Чертовски своеобразная у вас фантазия.

Я покачал головой, потом сказал:

– Нет, просто чертовски своеобразный опыт.

Адвокат достал огромный пестрый носовой платок и оглушительно высморкался. Потом аккуратно сложил платок и сунул обратно в карман.

– Сколько вам лет?

– Тридцать два.

– И сколько из них вы уже в бегах?

– Пять лет скоро.

Это было не так. Я-то скитался значительно дольше, но Людвиг Зоммер, по чьему паспорту я жил, – только 1939 года.

– Еврей?

Я кивнул.

– А внешность не сказать чтобы особенно еврейская, – заметил Левин.

– Возможно. Но вам не кажется, что у Гитлера, Геббельса, Гимmlера и Гесса тоже не особенно арийская внешность?

Левин опять издал свой короткий каркающий смешок.

– Чего нет, того нет! Да мне и безразлично. К тому же с какой стати человеку выдавать себя за еврея, раз он не еврей? Особенно в наше-то время? Верно?

– Может быть.

– В немецком концлагере были?

– Да, – неохотно вспомнил я. – Четыре месяца.

– Документы какие-нибудь есть оттуда? – спросил Левин, и в его голосе мне послышалось нечто вроде алчности.

– Не было никаких документов. Меня просто выпустили, а потом я сбежал.

– Жаль. Сейчас они бы нам оченьгодились.

Я глянул на Левина. Я понимал его, и все же что-то во мне противилось той гладкости, с которой он переводил все это в бизнес. Слишком мерзко и жутко это было. До того жутко и мерзко, что я сам с превеликим трудом сумел с этим совладать. Не забыть, нет, но именно совладать, переплавить и погрузить в себя, покуда оно без надобности. Без надобности здесь, на острове Эллис, – но не в Германии.

Левин открыл свой чемоданчик и достал оттуда несколько листков.

– Тут у меня еще кое-какие бумаги: господин Хирш дал мне с собой показания и заявления людей, которые вас знают. Все уже нотариально заверено. Моим партнером Уотсоном, удобства ради. Может, и на них хотите взглянуть?

Я покачал головой. Показания эти я знал еще с Парижа. Роберт Хирш в таких делах был дока. Не хотел я сейчас на них смотреть. Станным образом мне почему-то казалось, что при всех удачах сегодняшнего дня я должен кое-что предоставить самой судьбе. Любой эмигрант сразу понял бы меня. Тот, кто всегда вынужден ставить на один шанс из ста, как раз по этой причине никогда не станет преграждать дорогу обыкновенной удаче. Вряд ли имело смысл пытаться растолковать все это Левину.

Адвокат принялся удовлетворенно засовывать бумаги обратно.

– Теперь нам надо отыскать кого-нибудь, кто готов поручиться, что за время вашего пребывания в Америке вы не обремените государственную казну. У вас есть тут знакомые?

– Нет.

– Тогда, может, Роберт Хирш кого-нибудь знает?

– Понятия не имею.

– Уж кто-нибудь да найдется, – сказал Левин со странной уверенностью. – Роберт в этих делах очень надежен. Где вы собираетесь жить в Нью-Йорке? Господин Хирш предлагает вам гостиницу «Мираж». Он сам там жил раньше.

Несколько секунд я молчал, а затем вымолвил:

– Господин Левин, уж не хотите ли вы сказать, что я и вправду выберусь отсюда?

– А почему нет? Иначе зачем я здесь?

– Вы и правда в это верите?

– Конечно. А вы нет?

На мгновение я закрыл глаза.

– Верю, – сказал я. – Я тоже верю.

– Ну и прекрасно! Главное не терять надежду! Или эмигранты думают иначе?

Я покачал головой.

– Вот видите. Не терять надежду – это старый, испытанный американский принцип! Вы меня поняли?

Я кивнул. У меня не было ни малейшего желания объяснять этому невинному дитяти легитимного права, сколь губительна иной раз бывает надежда. Она пожирает все ресурсы ослабленного сердца, его способность к сопротивлению, как неточные удары боксера, который безнадежно проигрывает. На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ежиком свернувшаяся душа все силы сосредоточивает на том, чтобы выжить, и ни для чего больше в ней просто не остается места.

Левин закрыл и запер свой чемоданчик.

– Все эти вещи я сейчас вручу инспекторам для приобщения к делу. И через несколько дней приеду снова. Выше голову! Все у нас получится! – Он принялся. – Как же здесь пахнет... Как в плохо продезинфицированной больнице.

– Пахнет бедностью, бюрократией и отчаянием, – сказал я.

Левин снял очки и потер усталые глаза.

– Отчаянием? – спросил он не без иронии. – У него тоже бывает запах?

– Счастливый вы человек, коли этого не знаете, – проронил я.

– Не больно-то возвышенные у вас представления о счастье, – хмыкнул он.

На это я ничего не стал отвечать; бесполезно было втолковывать Левину, что нет таких бездн, где не нашлось бы места счастью, и что в этом, наверное, и состоит вся тайна выживания рода человеческого. Левин протянул мне свою большую костлявую ладонь. Я хотел было спросить его, во что все это мне обойдется, но промолчал. Иной раз так легко одним лишним вопросом все разрушить. Левина прислал Хирш, и этого достаточно.

Я встал, провожая адвоката взглядом. Его уверения, что у нас все получится, не успели меня убедить. Слишком большой у меня опыт по этой части, слишком часто я обманывался. И все-таки я чувствовал, как в глубине души нарастает волнение, которое теперь уже не унять. Не только мысль, что Роберт Хирш в Нью-Йорке, что он вообще жив, не давала мне покоя, но и нечто большее, нечто, чему я еще несколько минут назад сопротивлялся изо всех сил, что гнал от себя со всею гордыней отчаяния, – это была надежда, надежда вопреки всему. Ловкая, бесшумная, она только что впрыгнула в мою жизнь и снова была здесь, вздорная, неоправданная, неистовая надежда – без имени, почти без цели, разве что с привкусом некой туманной свободы. Но свободы для чего? Куда? Зачем? Я не знал. Это была надежда без всякого содержания, и тем не менее все, что я про себя именовал своим «я», она без малейшего моего участия уже подняла ввысь в порыве столь примитивной жажды жизни, что мне казалось, порыв этот не имеет со мной почти ничего общего. Куда подевалось мое смирение? Моя недоверчивость? Мое напускное, натужное, с таким трудом удерживаемое на лице чувство собственного превосходства? Я понятия не имел, где это все теперь.

Я обернулся и увидел перед собой женщину, ту самую, что недавно плакала. Теперь она держала за руку рыжего сынишку, который уплетал банан.

– Кто вас обидел? – спросил я.

– Они не хотят впускать моего ребенка, – прошептала она.

– Почему?

– Они говорят, он... – Она замялась. – Он отстал. Но он поправится! – затараторила она с горячностью. – После всего, что он перенес. Он не идиот! Просто отстал в развитии! Он обязательно поправится! Просто надо подождать! Он не душевнобольной! Но они там мне не верят!

– Врач среди них есть?

– Не знаю.

– Потребуйте врача. Специалиста. Он поможет.

– Как я могу требовать врача, да еще специалиста, когда у меня нет денег? – пробормотала женщина.

– Просто подайте заявление. Здесь это можно.

Мальчуган тем временем деловито, лепестками внутрь, сложил кожуру от съеденного банана и сунул ее в карман.

– Он такой аккуратный! – прошептала мать. – Вы только посмотрите, какой он аккуратный. Разве он похож на сумасшедшего?

Я посмотрел на мальчика. Казалось, он не слышал слов матери. Отвесив нижнюю губу, он чесал макушку. Солнце тепло искрилось у него в волосах и отражалось от зрачков, словно от стекла.

– Почему они его не пускают? – бормотала мать. – Он и так несчастней других.

Что на это ответишь?

– Они многих пускают, – сказал я наконец. – Почти всех. Каждое утро кого-то отправляют на берег. Наберитесь терпения.

Я презирал себя за то, что это говорю. Я чувствовал, как меня подмывает спрятаться от этих глаз, которые смотрели из глубин своей беды в ожидании спасительного совета. Не было у меня такого совета. Я смущенно пошарил в кармане, достал немного мелочи и сунул безучастному ребенку прямо в ладонку.

– На вот, купи себе что-нибудь.

Это сработало старое эмигрантское суеверие – привычка подкупать судьбу такой вот наивной уловкой. Я тут же устыдился своего жеста. Грошовая человечность в уплату за свободу, подумал я. Что дальше? Может, вместе с надеждой уже появился ее продажный брат-близнец – страх? И ее еще более паскудная дочка – трусость?

Мне плохо спалось этой ночью. Я подолгу слонялся возле окон, за которыми, подрагивая, полыхало северное сияние Нью-Йорка, и думал о своей порушенной жизни. Под утро с каким-то стариком случился приступ. Я видел тени, тревожно метавшиеся вокруг его постели. Кто-то шепотом спрашивал нитроглицерин. Видно, свои таблетки старик потерял.

– Ему нельзя заболеть! – шушукались родственники. – Иначе все пропало! К утру он должен быть на ногах!

Таблеток они так и не нашли, но меланхоличный турок с длинными усами одолжил им свои. Утром старик с грехом пополам поплелся в дневной зал.

## II

Через три дня адвокат явился снова.

– У вас жуткий вид, – закаркал он. – Что с вами?

– Надежда, – с усмешкой ответил я. – Надежда доканывает человека вернее всякого несчастья. Вам ли этого не знать, господин Левин.

– Опять эти ваши эмигрантские шуточки! У вас нет поводов скисать до такой степени. У меня для вас новости.

– И какие же? – спросил я осторожно. Я все еще боялся, как бы не выплыла история с моим паспортом.

Левин опять ослабил свои несусветные зубы. Часто же, однако, он смеется. Слишком часто для адвоката.

– Мы нашли для вас поручителя! – объявил он. – Человека, который даст гарантию, что государству не придется нести из-за вас расходы. Спонсора! Ну, что теперь скажете?

– Хирш, что ли? – спросил я, сам не веря своему вопросу.

Левин покачал лысиной.

– Откуда у Хирша такие деньги. Вы знаете банкира Танненбаума?

Я молчал. Я не знал, как отвечать.

– Возможно, – пробормотал я наконец.

– Возможно? Что значит «возможно»?! Вечно вы увиливаете! Конечно, вы его знаете! Он же за вас поручился!

Внезапно возле самых окон над беспокойно мерцающим морем с криками пронеслась стая чаек. Никакого банкира Танненбаума я не знал. Я вообще никого не знал в Нью-Йорке, кроме Роберта Хирша. Наверное, это он все устроил. Как устраивал во Франции, прикидываясь испанским вице-консулом.

– Очень может быть, что и знаю, – сказал я уклончиво. – Когда ты в бегах, встречаешь уйму людей, а фамилии легко забываются.

Левин смотрел на меня скептически.

– Даже такая рождественская, как Танненбаум<sup>3</sup>?

Я рассмеялся.

– Даже такая, как Танненбаум. А почему нет? Как раз Танненбаум и забывается! Кому в наши дни охота вспоминать о немецком Рождестве?

Левин фыркнул своим бугристым носом.

– Не имеет значения, знаете вы его или нет. Главное, чтобы он за вас поручился. И он готов это сделать.

Левин раскрыл чемоданчик. Оттуда вывалилось несколько газет. Он протянул их мне.

– Утренние. Уже читали?

– Нет.

– Как? Еще не читали? Здесь что, нет газет?

– Есть. Но я их еще не читал.

– Странно. Мне-то казалось, что как раз вы должны каждый день прямо кидаться на газеты. Разве остальные не кидаются?

– Может, и кидаются.

– А вы нет?

– А я нет. Да и не настолько я знаю английский.

Левин покачал головой.

---

<sup>3</sup> Tannenbaum – елка (нем.).

– Своеобразная вы личность.

– Очень может быть, – буркнул я. Я даже пытаться не стал растолковать этому любителю прямых ответов, почему стараюсь не следить за сообщениями с фронтов, покуда сижу здесь взаперти. Для меня куда важнее сберечь скудные остатки внутренних резервов, а не транжирить их на пустые эмоции. А расскажи я Левину, что вместо газет по ночам читаю антологию немецкой поэзии, с которой не расставался на протяжении всех скитаний, он, чего доброго, вообще откажется представлять мои интересы, сочтя меня душевнобольным.

– Большое спасибо, – сказал я, забирая газеты.

Левин продолжал рыться в папке с бумагами.

– Вот двести долларов, которые мне передал для вас Хирш, – объявил он. – Первая выплата моего гонорара.

Левин извлек на свет четыре зеленых купюры, разложил их карточным веером, помахал и мгновенно припрятал снова.

Я проводил купюры взглядом.

– Господин Хирш передал мне эти деньги только для того, чтобы я выплатил вам аванс? – поинтересовался я.

– Не то чтобы так прямо, но ведь вы мне их отдадите, не так ли? – Левин опять улыбался, но теперь уже не только всеми зубами и каждой морщинкой лица, а, казалось, даже ушами. – Вы же не хотите, чтобы я работал на вас бесплатно? – кротко спросил он.

– Конечно, нет. Однако не вы ли сами утверждали, что для допуска в Америку моих ста пятидесяти долларов слишком мало?

– Без спонсора – да! Но Танненбаум все меняет.

Левин буквально сиял. Он сиял до того нестерпимо, что я всерьез начал опасаться и за мои оставшиеся полторы сотни. И решил стоять за них до последнего, пока не получу в руки паспорт с въездной визой. Похоже, однако, Левин и сам это почувствовал.

– Теперь со всеми документами я иду к инспекторам, – деловито заявил он. – И если все пойдет как надо, то через несколько дней к вам пожалует мой партнер Уотсон. Он уладит все остальное.

– Уотсон? – удивился я.

– Уотсон, – подтвердил он.

– А почему не вы? – спросил я настороженно.

К немалому моему изумлению, Левин смутился.

– Уотсон из семьи потомственных американцев. Самых первых, – пояснил он. – Его предки прибыли в страну на «Мейфлаузере». В Америке это все равно что принадлежать к высшей знати. Безобидный предрассудок, но просто грех им не воспользоваться. Особенно в вашем случае. Вы меня понимаете?

– Понимаю, – оторопело ответил я. Видимо, Уотсон не еврей. Значит, и здесь это тоже имеет значение.

– Он придаст нашему делу надлежащий вес, – сказал Левин солидно. – И другим нашим запросам, на будущее. – Протягивая мне костлявую руку, он встал. – Всего хорошего! Скоро вы будете в Нью-Йорке!

Я не ответил. Все в адвокате мне не нравилось. Суеверный, как всякий, кто живет волей случая, я видел дурное предзнаменование в беспечной уверенности, с какой этот человек смотрит в будущее. Он выказал эту уверенность в первый же день, когда спросил меня, где я собираюсь жить в Нью-Йорке. У нас, эмигрантов, это не принято – боимся сглазить. Слишком часто на моем веку такие вот надежды оборачивались самым худым концом. А тут еще и Танненбаум – что значит эта странная, непонятная история? Я все еще толком не верил в нее. И деньги от Роберта Хирша этот адвокатишка мигом прикарманил! Наверняка они предназначались не для этого! Двести долларов! Целое состояние! Я свои полторы сотни целых два года копил.



А этот Левин, чего доброго, в следующий приход захочет и их заграбастать! Немного успокаивало меня только одно: эту зубастую гиену все-таки послал ко мне Роберт Хирш.

Из всех, кого я знал, Хирш был единственным истинным маккавеем<sup>4</sup>. Однажды, вскоре после перемирия, он вдруг объявился во Франции в роли испанского вице-консула. Раздобыв откуда-то дипломатический паспорт на имя Рауля Тенье, он выдавал себя за такового с поразительной наглостью. Никто не знал, фальшивый у него паспорт или подлинный, а если подлинный, то насколько. Поговаривали даже, что Хирш получил его чуть ли не от французского Сопротивления. Сам Роберт хранил на сей счет полную непроницаемость, но всем и так было известно, что в кометном шлейфе его карьеры были эпизоды, когда он работал и на французское подполье. Как бы там ни было, он имел в распоряжении автомобиль с испанскими номерами и эмблемой дипкорпуса, носил элегантные костюмы и во времена, когда горячее было дороже золота, на трудности с бензином не жаловался. Добыть все это он мог только через подпольщиков. Хирш и работал на них: перевозил оружие, литературу – листовки и маленькие двухстраничные памфлеты. Это были времена, когда немцы, нарушив пакт о частичной оккупации, вторгались на незанятую часть Франции, устраивая там облавы на эмигрантов. Всех, кого мог, Хирш пытался спасти. Его выручали автомобиль, паспорт – и отвага. Когда его все же останавливали на дорогах для проверки, он в роли полномочного представителя другого, дружественного Германии диктатора не знал к проверяющим ни пощады, ни снисхождения. Он отчитывал постовых, кричал о своем дипломатическом иммунитете и, чуть что, грозил жаловаться лично Франко, а через того – самому Гитлеру. Опасаясь нарваться на неприятности, немецкие патрули предпочитали пропускать его сразу. Врожденный верноподданнический страх заставлял их трепетать перед громким титулом и паспортом, а выработанная за годы муштры привычка к послушанию сочеталась, особенно у низших чинов, с боязнью ответственности. Однако даже офицеры СС теряли лицо, когда Хирш принимался на них орать. Весь его расчет при этом был на страх, который порождает в собственных рядах всякая диктатура, превращая право в капризное орудие субъективного произвола, опасного не только для врагов, но и для сторонников, когда те просто не в силах уследить за постоянно меняющимися предписаниями. Таким образом, Хирш извлекал выгоду из трусости, которая, наряду с жестокостью, есть прямое следствие всякого деспотизма.

\* \* \*

На несколько месяцев Хирш стал для эмигрантов чем-то вроде ходячей легенды. Некоторым он спасал жизнь неведомо где раздобытыми бланками удостоверений, которые заполнял на их имя. Благодаря этим бумажкам людям, за которыми уже охотилось гестапо, удавалось улизнуть за Пиренеи. Других Хирш прятал в провинции по монастырям, пока не предоставлялась возможность переправить их через границу. Двоих он сумел освободить даже из-под ареста и потом помог бежать. Подпольную литературу Хирш возил в своей машине почти открыто и чуть ли не кипами. Это в ту пору он, на сей раз в форме офицера СС, вытащил из лагеря и меня – к двум политикам в придачу. Все с замиранием сердца следили за этой отчаянной вылазкой одиночки против несметных сил противника, с ужасом ожидая неминуемой гибели

---

<sup>4</sup> Здесь: символ стойкости евреев. Маккавеи – представители священнического рода Хасмонеев, дети Маттафии и их потомки, правили в Иудее с 167? по 37 г. до н. э. Иуда Маккавей возглавил народное восстание в Иудее против власти Селевкидов, в 164 г. захватил Иерусалим. После гибели Иуды Маккавея в 161 г. до завоевания Иудеей политической независимости борьбу возглавили его братья. Семь братьев Маккавеев – Авим, Алим, Антонин, Гурий, Евсевон, Елеазар и Маркелл – были убиты в 166 г. в гонение Антиоха IV Эпифана за отказ нарушить закон Моисеев (2 Маккавейская, 7). Память в Православной церкви 1 (14) августа.

смельчака. И вдруг Хирш сразу исчез, как в воду канул. Прошел слух, что его расстреляли гестаповцы. И, как всегда, нашлись люди, которые вроде бы даже видели, как его арестовали.

После моего освобождения из лагеря мы еще не раз встречались и провели друг с другом не один вечер, досиживая за разговором до утра. Хирш был вне себя от того, что немцы убивают евреев как кроликов, а те тысячами, без малейшего сопротивления, дают заталкивать себя в битком набитые товарные вагоны и везти напрямик в лагеря смерти. Он не мог уразуметь, почему они даже не пытаются восстать, дать отпор, почему хотя бы часть из них, зная, что погибели все равно не миновать, не взбунтуется, дабы прихватить с собой пару-тройку жизней своих палачей, – так нет же, все как один покорно идут на заклатие. Мы оба знали, что поверхностными рассуждениями о страхе, последней отчаянной надежде или тем паче трудности ничего тут не объяснишь – скорее объяснение коренилось в чем-то прямо противоположном, ибо, судя по всему, человеку, вот так, молча принимающему смерть, требуется куда больше мужества, чем тому, кто будет рвать и метать, изображая перед смертью неистовство тевтонской мести. И все равно Хирш выходил из себя при виде этого – длящегося вот уже два тысячелетия со времен Маккавеев – смирения. Он ненавидел за это свой народ – и понимал его всеми фибрами выстраданной любви и боли. Личная война, которую он в одиночку вел против изуверства, имела свои, не только общечеловеческие причины; в чем-то это было еще и восстание против самого себя.

Я взял газеты, которые дал мне Левин. По-английски я понимал плохо, так что читал с трудом. Еще на корабле я одолжил у одного сирийца французский учебник английской грамматики; какое-то время этот сириец даже давал мне уроки. Уже здесь, когда его выпустили, он оставил книгу мне в подарок, и я продолжал занятия. Произношение я с грехом пополам осваивал при помощи портативного граммофона, который привезла с собой на остров Эллис семья польских эмигрантов. Там было около дюжины пластинок, которые все вместе составляли курс английского. Граммофон по утрам выносился из спального в дневной зал, вся семья усаживалась перед ним где-нибудь в уголке и учила английский. Они рьяно и почти подобострастно вслушивались в неторопливый, сытый голос диктора, пока тот нудно рассказывал про жизнь воображаемой четы англичан, мистера и миссис Браун, – у тех был дом, сад, сыновья и дочери, которые исправно ходили в школу и делали домашние задания, в то время как сам мистер Браун, у которого имелся еще и велосипед, ездил на этом велосипеде в контору, где он служил, а миссис Браун при всем при том поливала цветы, готовила обед, носила передник и густые черные волосы. Несчастные эмигранты каждый день истово жили вместе с семьей Браунов этой сонной жизнью, их уста раскрывались и закрывались в такт речениям диктора, как при замедленной киносъемке, а вокруг, кто стоя, кто сидя, трудились все, кому тоже хотелось поживиться знаниями. Со стороны, особенно в сумерки, казалось, будто сидишь возле пруда со старыми карпами, которые лениво всплывают на поверхность, раскрывая и закрывая рты в ожидании подкормки.

Были среди эмигрантов и такие, кто мог бегло объясниться по-английски. Во время оно у их родителей хватило ума определить своих чад в реальные училища, где вместо латыни и греческого им преподавали английский.

Теперь эти чада сами превратились в авторитетных учителей и время от времени консультировали тех, кто, склонившись над газетой, по складам разбирал фронтовые сводки с полей всемирной бойни, попутно упражняясь в числительных: десять тысяч убитых, двадцать тысяч раненых, пятьдесят тысяч пропавших без вести, сто тысяч пленных, – благодаря чему бедствия планеты на какое-то время сводились для них к трудностям школьного урока, на котором, допустим, надо непременно освоить произношение звука th в слове thousand<sup>5</sup>. Зна-

<sup>5</sup> Тысяча (англ.).

токи снова и снова терпеливо демонстрировали им этот каверзный звук, которого в немецком нет и по скверному произношению которого в тебе мигом распознают иностранца, – th как thousand, fifty thousand<sup>6</sup> убитых в Берлине и Гамбурге, – до тех пор, пока кто-то из учеников, внезапно побледнев и поперхнувшись на полуслове, не выпадал вдруг из роли школяра, с ужасом бормоча:

– Гамбург? Да у меня же мама еще в Гамбурге!

Я не очень представлял себе, какой именно акцент вырабатывается у меня на острове Эллис; зато я люто возненавидел войну в качестве материала для букваря. Уж лучше верить себя нудному идиотизму моей английской грамматики и зазубривать, что Карл носит зеленую шляпу, что его сестренке двенадцать лет и она любит пирожные, а его бабушка все еще катается на коньках. Эти высокоумные измышления нафталиновой педагогической премудрости по крайней мере образовывали что-то вроде островков идиллической банальности в кровавых морях газетного чтения. А на душе и без того было тошно от одного вида всех этих беженцев, которые стыдились... которых жизнь заставила стыдиться своего родного языка, языка палачей и изуверов, и которые теперь – не столько даже обучения ради, а словно лихорадочно торопясь позабыть последние привезенные с собой остатки родной речи – беспомощно коверкали чужеземные слова, норовя даже между собой изъясняться по-английски. Дня за два до моего освобождения томик немецких стихов, с которым я не разлучался, внезапно исчез. Утром я на секунду оставил его в дневном зале – а нашел только после обеда, в уборной, разорванным в клочки и перепачканным в дерьме. И поделом мне, подумал я: все чарующие красоты немецкой лирики выглядели здесь чудовищной издевкой над страданиями, принятыми всеми этими несчастными от той же самой Германии.

Уотсон, партнер Левина, и вправду явился через несколько дней. Это был помпезного вида мужчина с крупным мясистым лицом и пышными седыми усами. Как я и предполагал, он не был евреем и не обладал ни любопытством Левина, ни его интеллигентной сообразительностью. Он не говорил ни по-немецки, ни по-французски, зато широко жестикулировал и расплывался в глуповатой, хотя и успокоительной улыбке. Худо-бедно, но как-то мы с ним объяснились. Уотсон, впрочем, ни о чем особенно и не спрашивал, только императорским жестом повелел мне ждать, а сам отправился в администрацию беседовать с инспекторами.

В это время в женском отделении возникла какая-то тихая сумятица. Туда сразу же устремились надзиратели. Все обитательницы отделения сгрудились вокруг одной женщины – та лежала на полу и постанывала.

– Что там стряслось? – спросил я у старика, который одним из первых метнулся на шум и уже успел вернуться. – Опять с кем-то истерика?

Старик мотнул головой:

– Похоже, какая-то чудачка надумала рожать.

– Что? Рожать? Здесь?

– Похоже на то. Любопытно, что скажут инспектора. – Старик невесело хмыкнул.

– Преждевременные роды! – объявила дама в красной панбархатной блузке. – На месяц раньше срока. Не мудрено, при такой-то нервотрепке.

– Ребенок уже родился? – спросил я.

Женщина глянула на меня свысока.

– Разумеется, нет. У нее только первые боли. Это может длиться часами.

– Если ребенок родится здесь – он будет американцем? – поинтересовался вдруг старик.

– А кем же еще? – опешила женщина в красной блузке.

---

<sup>6</sup> Пятьдесят тысяч (англ.).

– Я имею в виду – здесь, на Эллисе. Все-таки это лишь карантинная зона, вроде как еще не настоящая Америка. Америка – вон она где.

– Здесь тоже Америка! – выпалила дама. – Охранники вон американцы. И инспектора тоже.

– Если так, то матери крупно повезет, – заметил старик. – У нее неожиданно-негаданно объявится родственник в Америке – собственный ребенок! Ее легче будет пропустить! Эмигрантов, у кого в Америке родственники, впускают почти сразу. – Старик обвел нас несмелым взглядом и смущенно улыбнулся.

– Если его не признают американцем, значит, это будет первый истинный гражданин мира, – сказал я.

– Второй, – возразил старик. – Первого мне довелось повстречать еще в тридцать седьмом на мосту между Австрией и Чехословакией. На этот мост полиция обеих стран согнала тогда немецких эмигрантов. Податься было некуда, кордон стоял с двух концов. Целых три дня между границами прокуковали. Вот одна и родила.

– И что же стало с ребенком? – взволнованно спросила женщина в красной блузке.

– Умер задолго до того, как между двумя странами успела начаться война, – проронил старик. – Это было еще в гуманные времена, до их присоединения к Германии, – добавил он почти извиняющимся тоном. – Потом-то эту мамашу вместе с ее младенцем попросту прибили бы, как котят.

\* \* \*

Я увидел, что Уотсон уже возвращается из инспекторского бюро. В своем светлом клетчатом костюме он возвышался над согбенными спинами жмущихся у дверей беженцев, будто великан. Я поспешил навстречу. Сердце у меня вдруг бешено забилося. Уотсон помахал моим паспортом.

– Считайте, что вам повезло, – объявил он. – Тут какая-то женщина рожает, инспектора совсем одурели. Вот ваша виза.

Я взял паспорт. Руки у меня дрожали.

– И на какой срок?

Уотсон от удовольствия даже рассмеялся.

– Собирались дать вам транзитную и только на четыре недели, а дали туристическую на два месяца. Можете этой роженице спасибо сказать – так они торопились от нее, а заодно и от меня избавиться. Для нее, кстати, уже заказана моторка – сразу в больницу повезут. Заодно и нас могут прихватить. Ну, как вам это?

Уотсон крепко хлопнул меня по спине.

– Это что же, выходит, я свободен?

– Конечно! На ближайшие два месяца. А потом мы придумаем что-нибудь еще.

– Два месяца! – пробормотал я. – Целая вечность.

Уотсон мотнул своей львиной шевелюрой.

– Вовсе не вечность! Всего два месяца! Нам надо сразу же обсудить наши следующие шаги.

– Только на берегу! – сказал я. – Не сейчас!

– Хорошо. Но особенно не затягивайте. Тут еще кое-какие расходы остались – проезд, виза, ну и прочее. Всего пятьдесят долларов. Лучше сразу же это уладить. А уж остаток гонорара отдадите, когда обживетесь.

– Остаток – это сколько?

– Сто долларов. Очень недорого. Мы не злодеи какие-нибудь.

Я ничего ему на это не ответил. Мне вдруг страстно захотелось только одного – как можно скорее выбраться из этого зала. Прочь с острова Эллис! Я боялся, что в последний миг дверь инспекторского бюро вдруг распахнется и меня вызовут, вернут. Я торопливо достал свой тощий бумажник и выдернул оттуда пятьдесят долларов. Оставалось у меня еще девяносто девять. Это не считая сотни долга. «Теперь всю оставшуюся жизнь плати этим адвокатам проценты», – пронеслось у меня в голове. Но мне уже было все равно – я ничего не чувствовал, кроме яростного, ознобом накатывающего нетерпения.

– Мы можем идти? – спросил я.

Женщина в красной блузке вдруг рассмеялась.

– Сколько еще часов пройдет, пока этот ребенок родится. Часов! Но они там этого не знают. Эти инспекторишки! Все знают, а этого не знают! И я лично меньше всего намереваюсь их просвещать. Ведь любая живая тварь, выходящая отсюда, дарит надежду остающимся. Верно?

– Верно, – согласился я. И увидел женщину, которой предстояло рожать, – двое надзирателей вели ее под руки.

– Мы можем идти за ними? – спросил я Уотсона.

Тот кивнул. Женщина в панбархатной блузке пожала мне руку. Тут же подошел и старик, чтобы поздравить меня. Мы пошли к выходу. В дверях я предъявил полицейскому свой паспорт. Он тут же вернул его мне.

– Счастья вам! – пожелал он и тоже протянул руку.

Впервые в жизни мне жал руку полицейский, да еще и желал счастья. На меня это весьма своеобразно подействовало: только тут я понял, что действительно свободен.

Нас погрузили в моторку, больше похожую на солидный баркас. Роженицу в сопровождении двух охранников уложили на корме. Уотсон, я и еще несколько выпущенных на волю счастливцев теснились на носу. Рев мотора и гудки окружающих кораблей заглушили стоны женщины. Солнце и ветер со всех сторон охватили лодку искристой зыбью подрагивающих солнечных бликов, так что казалось – наша моторка не плывет, а парит между небом и водой. Я стоял, не оглядываясь. Паспорт был спрятан во внутреннем кармане, я прижимал его к телу. Небоскребы Манхэттена исполинскими стражами вырастали в ослепительно голубом небе. Вся переправа заняла лишь несколько минут.

Когда мы уже причаливали, один из пассажиров не смог удержаться от слез. Это был тщедушный старичок на тонких ножках и в старомодной велюровой шляпе. Бородка его затряслась, и он упал на колени, простирая руки к небу в истовом и беспцельном жесте. При ярком свете утреннего солнца это выглядело и трогательно, и комично. Супруга старичка, вся в морщинах, маленькая, смуглая, как орех, досадливо стала его поднимать.

– Костюм перепахкаешь! А он у тебя только один!

– Мы в Америке! – лепетал старичок.

– Ну да, да, мы в Америке, – крикливым голосом ответила ему жена. – А где наш Иосиф? Где Самуия? Где они? Где наша Мириам, где они все?.. Мы в Америке, – повторила она. – А все остальные где? Поднимайся и помни о костюме!

Своими мертвыми, неподвижными, словно у жука, глазами она теперь смотрела на всех нас:

– Мы-то в Америке! А где остальные? Дети где?

– Что она говорит? – поинтересовался Уотсон.

– Радует, что наконец-то в Америке.

– Ах, вот оно что! Еще бы! Тут у нас земля обетованная. Вы ведь тоже рады, не так ли?

– Очень! Большое вам спасибо за помощь.

Я осмотрелся. Вокруг меня, казалось, бушует автомобильная битва. Никогда прежде мне не доводилось видеть столько машин одновременно. В Европе до войны машин было немного, да и бензина почти всегда не хватало.

– А где же солдаты? – удивился я.

– Солдаты? Какие солдаты?

– Но ведь Америка ведет войну!

Уотсон широко улыбнулся.

– Война в Европе и в Атлантике, – доброжелательно растолковал он мне. – А здесь нет. В Америке войны нет. Здесь у нас мир.

На секунду я даже забыл об этом. Враг далеко, где-то на краю света. Здесь не надо оборонять от него границы. Не надо стрелять. Здесь нет руин. Нет бомб. Вообще никаких разрушений.

– Мир, – повторил я.

– Не похоже на Европу, верно? – с гордостью спросил Уотсон.

Я кивнул.

– Совсем не похоже.

Уотсон показал на другую сторону улицы.

– Вон там стоянка такси. А напротив остановка омнибуса. Не пешком же вы пойдете!

– Отчего же. Именно пешком. Я вдоволь насиделся взаперти.

– Ах, вот что. Ну как хотите. Кстати, в Нью-Йорке вы не заблудитесь. Почти все улицы здесь по номерам. Очень удобно.

Я брел по улицам, словно пятилетний мальчуган – как раз настолько, должно быть, хватало моих знаний английского. Я брел сквозь ошеломляющий поток звуков, слов, смеха, криков, клаксонов, сквозь все это взбудораженное кипение жизни, которому пока что не было до меня никакого дела, хоть оно слепой силой прибои и рвалось во все мои чувства. Я слышал вокруг себя только шум, не понимая отдельных звуков, я видел вокруг себя только свет, не понимая, из чего он возникает и во что складывается. Я брел по городу, каждый обитатель которого казался мне таинственным Прометеем – до того загадочными были даже самые привычные их повадки и жесты, не говоря уже о словах, в звучании которых я тщетно пытался улавливать смысл. Все вокруг наполнилось изобилием возможностей, мне неведомых, ибо я не знал этого языка. Все было иначе, чем в европейских странах, где знакомая жизнь поддавалась толкованию легко и сразу. Здесь же мне все время чудилось, будто я шагаю по гигантской арене, на которой все эти прохожие, официанты, шоферы играют между собой в какую-то непонятную мне игру, а я, хоть и нахожусь в самом центре событий, из игры напрочь выключен, ибо не знаю правил. Я понимал, что эти мгновения – единственные и никогда больше не повторятся. Уже завтра, да нет, уже сегодня, как только дойду до гостиницы, я вольюсь в эту жизнь, и вечная борьба, полная уловок и утаек, выгадываний и грошовых сделок, а еще скопища мелких полуправд, из которых складываются мои будни, начнется снова-здорово, – но сейчас, в этот единственный миг, город, еще не успевший меня заметить, распахивал мне навстречу свое лицо, неистовое и громогласное, безучастное и чуждое, открываясь во всей своей безличной прозрачности и мощи, как ослепительный гигантский кристалл сияющей и смертоносной кометы. Мне показалось, что даже время на несколько минут остановилось в некоей судьбоносной цезуре, когда все вдруг возможно, любое решение подвластно, когда вся твоя жизнь замерла в бездвижной невесомости и только от одного тебя зависит, рухнет она или нет.

Я очень медленно брел по бурлящему городу; я и видел его, и не видел. Я до того столь долго был целиком и полностью поглощен лишь примитивными нуждами самосохранения, что привычку не замечать жизнь других ценил как выгоду. Это было безоглядное желание выжить,

как на тонущем корабле за секунду до всеобщей паники, когда перед тобой только одна цель: не умереть. Но теперь, в мгновенья этого удивительного междучасья, я вдруг почувствовал, что, возможно, передо мной опять пышным веером развертывается жизнь, что в этой жизни снова есть, пусть даже очень скудно отмеренное, но будущее, а вместе с будущим из небытия начинало подниматься и прошлое, дыша запахом крови и тленом могил. Я смутно ощущал – это такое прошлое, что ему ничего не стоит меня убить, но сейчас я не хотел об этом думать – не в сей час мерцающих отражениями витрин и пьянящего дурмана свободы, колышущегося океана незнакомых лиц, полуденной суеты, громких и чуждых звуков, разлитого повсюду света и жажды жизни, не в этот час, когда я, будто лазутчик, крадусь меж двух миров, не принадлежа ни одному из них, словно бы, как в детстве, мне показывают фильм с перепутанным звуковым сопровождением, и в его музыке мне открывается много больше, чем просто внезапное чудо света и тени и моего детского восторга и детской же уверенности, что восторг обернется разочарованием. Мне казалось, будто в темницу долгого внутреннего заточения, куда меня упрятала беспросветная нужда, вдруг постучалась жизнь, и уже задает вопросы, и требует ответов, и просит оглянуться, и над мшистой трясиной памяти манит дымкой робкой, еще почти бесплотной надежды. «Надежда, да разве бывает она вообще?» – думал я, уставившись в распахнутые двери магазина, в необъятных недрах которого, посверкивая хромом облицовки, позвякивая звоночками и перемигиваясь разноцветными лампочками, шеренгами выстроились игральные автоматы. Неужто это еще возможно? Неужели не все во мне пересохло и вымерло, неужели от ужасов выживания можно вернуться просто к проживанию и даже к жизни? Разве бывает такое – чтобы все начать сначала, снова предстать перед жизнью во всей неведомости и полноте своих нераскрытых предназначений, как тот язык, что лежал сейчас передо мной во всей своей непроницаемости? Разве можно проделать все это, не совершив предательства и вторично, теперь уже забвением, не убивая тех, кого однажды уже убили?

Я брел все дальше, брел по улицам, которые вместо названий носили просто номера и становились все обшарпанней и уже, покуда с фасада чуть в глубине стоящего дома на меня не глянула вывеска гостиницы «Мираж». Подъезд был облицован искусственным мрамором, одна из плиток успела треснуть. Я вошел и тут же остановился. После яркого света улицы в тесном холле с трудом угадывались подобие стойки, несколько плюшевых кресел и такой же диван, а еще кресло-качалка, с которой в темноте лениво поднялось что-то, силуэтом сильно напоминая медведя.

– Вы Людвиг Зоммер? – поинтересовался медведь по-французски.

– Да, – удивленно подтвердил я. – Откуда вы знаете?

– Роберт Хирш предупреждал, что вы можете приехать днями. Меня зовут Владимир Мойков. Я тут и за управляющего, и за горничную, и официант, и мальчик на побегушках.

– Мне повезло, что вы говорите по-французски. Молчал бы тут как рыба.

Мойков пожал мне руку.

– Говорят, под водой рыбы весьма общительные создания, – заявил он. – Кто угодно, только не молчуны. Согласно новейшим научным разысканиям. Можете, кстати, говорить со мной и по-немецки.

– Вы немец?

Лицо Мойкова сморщилось множеством борозд и складочек – это была улыбка.

– Нет. Я остаточный продукт многих революций. Сейчас я американец. Прежде побывал чехом, русским, поляком, австрийцем, смотря по тому, кто стоял в городишке, откуда родом моя мать. Даже немцем побывал – в оккупации. Что-то вид у вас какой-то жаждущий. Хотите рюмку водки?

Я замялся, подумав о моих стремительно тающих финансах.

– А сколько у вас стоит комната? – спросил я.



– Самая дешевая два доллара за ночь. – Мойков направился к доске с ключами. – Правда, это скорее каморка. Без роскоши и без удобств. Но ванная в том же коридоре.

– Я ее беру. А на месяц не дешевле?

– Пятьдесят долларов. И сорок пять, если платите вперед.

– Хорошо.

Мойков ослабилась в ухмылке старого павиана.

– Рюмка водки при заключении договора обязательна. За счет отеля. Водка, кстати, очень хорошая. Я сам ее делаю.

– Мы когда-то тоже делали, в Швейцарии, разводили пятьдесят на пятьдесят с добавлением кусочка сахара и наперстка смородинных почек. Спиртом нас снабжал аптекарь. Водка получалась отменная и дешевле самого отвратного магазинного шнапса. Да, блаженное было времечко, зимой сорок второго.

– В тюрьме?

– В тюрьме в Беллинцоне. К сожалению, только одну неделю. Нелегальное пересечение границы.

– Смородинные почки, – повторил Мойков задумчиво. – А что, хорошая идея! Только где найти в Нью-Йорке смородинные почки?

– Они все равно почти не дают вкуса, – утешил я его. – А идею подарил мне один белорус. Водка у вас и правда очень хорошая.

– Вот и замечательно. В шахматы играете?

– Да, но в тюремные. Не в гроссмейстерские. Беженские шахматы, только чтобы отвлечься от прочих мыслей.

Мойков кивнул.

– Бывают еще языковые шахматы, – заметил он. – Широко здесь практикуются. Шахматы мобилизуют абстрактное мышление, за ними хорошо повторять английскую грамматику. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

Комната действительно оказалась каморкой, выходила на задний двор, и света в ней было немного. Я заплатил сорок пять долларов и с облегчением поставил чемодан. Освещалась комната из-под потолка парой чугунных светильников, но имелась здесь и маленькая настольная лампа с зеленым абажуром. Я удостоверился, что лампа работает, значит, можно будет оставлять ее на ночь. После кладовки брюссельского музея я ненавижу спать впотьмах. Потом я пересчитал свои деньги. Я понятия не имел, как долго можно прожить в Нью-Йорке на пятьдесят четыре доллара, но меня это нисколько не угнетало. У меня слишком часто не было за душой и сотой доли этой суммы. Как сказал мне незадолго до смерти покойный Зоммер, чьим паспортом я теперь благодарно пользовался: пока ты жив, ничто не потеряно до конца. Даже странно, до какой степени одни и те же слова могут казаться то истиной, а то ложью.

– Вот вам письмо от Роберта Хирша, – сказал мне Мойков, когда я снова спустился вниз. – Он не знал точно, когда вы приедете. Вам лучше всего просто сходить к нему ближе к вечеру. Днем он работает, как и почти всякий здесь.

Работа, подумал я. Легальная! Счастье-то какое! Вот бы и мне так... Мне если и случилось работать, то только по-черному, украдкой, в вечном страхе перед полицией.

### III

К Хиршу я отправился уже в полдень. Не хотелось столько ждать. Я легко нашел небольшой магазинчик, в окнах которого были выставлены два репродуктора, электрические утюги, фены для сушки волос и кипятильники; все это горделиво посверкивало сталью и хромом, — но дверь была заперта. Я подождал немного, а потом сообразил, что Роберт Хирш, наверное, ушел на обед. Я разочарованно отвернулся от двери и внезапно сам испытал острый приступ голода. Не зная, как быть, я осмотрелся по сторонам. Очень хотелось поесть, не убухав на это кучу денег. На ближайшем углу я углядел магазинчик, с виду похожий на аптеку. В витрине красовались клизмы, флаконы с туалетной водой и реклама аспирина, но за раскрытой дверью виднелось нечто вроде бара, за стойкой сидели люди и явно что-то ели. Я вошел. Парень в белой куртке нетерпеливо спросил меня из-за стойки:

— Что вам?

Я растерялся, не зная, что ответить. Впервые в Америке мне приходилось самому заказывать себе еду. Я показал на тарелку соседа.

— Гамбургер? — рявкнул парень.

— Гамбургер, — ответил я изумленно. Вот уж не ожидал, что мое первое слово по-английски будет немецким.

Гамбургер оказался сочным и вкусным. Я съел к нему две булочки. Парень опять что-то рявкнул. Я напрочь не понимал, чего он от меня добивается, но увидел, что на тарелке у соседа уже мороженое. Я снова ткнул в его сторону. Сто лет мороженого не ел. Однако парню этого оказалось недостаточно. Он показал на длиннущее табло у себя за спиной и рявкнул еще громче.

Сосед взглянул на меня. У него были лысина и жесткие, будто из конского волоса, усы.

— Какой сорт? — сказал он мне почти по складам, точно ребенку.

— Самый обычный, — ответил я, лишь бы выпутаться.

Усач рассмеялся.

— Тут мороженое сорока двух сортов.

— Что?

Усач показал на табло.

— Выбирайте.

Я разглядел слово «фисташки». В Париже бродячие торговцы продавали фисташки, обходя в кафе столик за столиком. Но такого мороженого я не знал.

— Фисташки, — сказал я. — И кокос.

Я расплатился и не торопясь вышел. Впервые в жизни я ел в аптеке. По дороге к выходу я успел заметить прилавки с лекарствами и рецептурный отдел. Здесь также можно было купить резиновые перчатки, книги и даже золотых рыбок. «Что за страна! — думал я, выходя на улицу. — Сорок два сорта мороженого, война и ни одного солдата на улице!»

Я отправился обратно в гостиницу. Уже издали я различил обшарпанный мраморный фасад, и среди окружающей чужбины он показался мне почти что родиной, пусть и мимолетной. Владимира Мойкова не было видно. Вообще никого. Будто вымерли все. Я прошелся по вестибюлю мимо плюшевой мебели и горестных пальм в кадках. И тут никого. Взял свой ключ, поднялся в комнату и прямо в одежде улегся на кровать вздремнуть. А проснулся, не понимая, где я и что со мной. Что-то мне снилось, какая-то жуть, мерзкая и тягостная. В комнате уже царил розоватый и смутный полумрак. Я встал и выглянул в окно. Внизу двое негров тащили по двору бачки с отбросами. Одна из крышек свалилась и загремела по цементному полу. Я сразу же вспомнил, что мне снилось. Вот уж не думал, что этот кошмар переплывет со мной

океан. Я спустился вниз. На сей раз Мойков оказался на месте; сидя за столом в обществе изящной старой дамы, он махнул мне рукой. Было самое время идти к Роберту Хиршу. Я спал дольше, чем предполагал.

Перед магазином Роберта Хирша стояла небольшая толпа. «Несчастье! – подумал я. – Или полиция!» Это первое, о чем наш брат думает. Я уже начал было продираться сквозь толпу, как вдруг услышал чей-то неестественно громкий голос. В окнах теперь торчали три репродуктора, дверь в магазин была распахнута настежь. Голос шел из динамиков. В самом магазине было пусто и темно.

И тут я увидел Хирша. Он стоял на улице среди других слушателей. Я сразу узнал его рыжую продолговатую макушку. Он не изменился.

– Роберт! – тихо сказал я, вплотную подойдя к нему сзади и забыв о раскатах репродукторного трио.

Он меня не услышал.

– Роберт! – крикнул я. – Роберт!

Он вздрогнул, оглянулся, изменился в лице.

– Людвиг! Ты? Ты когда приехал?

– Сегодня утром. Я уже приходил сюда, но никого не было.

Мы пожали друг другу руки.

– Хорошо, что ты здесь, – сказал он. – Это чертовски здорово, Людвиг! Я уж думал, тебя нет в живых.

– А я то же самое думал о тебе, Роберт. В Марселе все тебя похоронили. Нашлись даже очевидцы твоего расстрела.

Хирш рассмеялся.

– Эмигрантские сплетни! Ну ничего, говорят, это к долгой жизни. Хорошо, что ты здесь, Людвиг. – Он кивнул в сторону батареи репродукторов и пояснил: – Рузвельт! Твой спаситель говорит. Давай-ка послушаем.

Я кивнул. Мощный, раскатистый голос и так перекрывал любое изъятие чувств. Да мы и отвыкли от них; на этапах «страстного пути» людям столько раз случалось терять друг друга из вида и находить – или не находить – снова, что деловитая, будничная немногословность встреч и расставаний вошла в привычку. Надо быть готовым умереть завтра – или свидеться через годы. Главное, что сейчас ты жив, этого достаточно. Этого было достаточно в Европе, подумал я. Здесь все иначе. Я был взволнован. Кроме того, я почти ни слова не мог разобрать из того, что говорит президент.

Я заметил, что и Хирш слушает не слишком внимательно. Он пристально наблюдал за собравшимися. Большинство слушали безучастно, но некоторые отпускали замечания. Толстуха с башней белокурых волос презрительно рассмеялась, недвусмысленно постучала себя по лбу и удалилась, покачивая пышными бедрами.

– They should kill that bastard!<sup>7</sup> – буркнул стоявший рядом со мной мужчина в клетчатом спортивном пиджаке.

– Что значит «kill»? – спросил я у Хирша.

– Убить, – пояснил он с улыбкой. – Прикончить. Это слово надо знать.

Динамики вдруг умолкли.

– Ты ради этого все репродукторы включил? – спросил я. – Принудительное воспитание терпимости?

Он кивнул.

---

<sup>7</sup> Этого ублюдка убить бы надо! (англ.)

– Моя вечная слабость, Людвиг. Никак от нее не избавлюсь. Только зряшная это затея. Причем где угодно.

Люди быстро разошлись. Остался лишь мужчина в спортивном пиджаке.

– По-каковски это вы говорите? – буркнул он вопросительно. – Немецкий, что ли?

– По-французски, – невозмутимо ответил Хирш. (Мы говорили по-немецки.) – Язык ваших союзников.

– Тоже мне союзнички. Мы за них воюем! Все из-за Рузвельта этого!

Мужчина вразвалку удалился.

– Вечно одно и то же, – вздохнул Хирш. – Ненависть к иностранцам – вернейший признак невежества. – Потом он взглянул на меня. – А ты похудел, Людвиг. И постарел. Но я-то думал, тебя вообще уже нет в живых. Странно, это первое, что думаешь про человека, когда о нем долго не слышишь. А ведь мы не такие старые.

Я усмехнулся.

– Такая уж у нас проклятая жизнь, Роберт.

Хирш был примерно моих лет – ему тридцать два. Но выглядел гораздо моложе. И фигурой пощуплей, и ростом поменьше.

– Я был твердо уверен, что тебя убили, – проронил я.

– Да я сам распустил этот слух, чтобы легче смыться, – объяснил он. – Было уже пора, самое время.

Мы вошли в магазин, где радио теперь взахлеб что-то расхваливало. Оказалось, это реклама кладбища. «Сухая, песчаная почва! – разобрал я. – Изумительный вид!» Хирш выключил звук и извлек из маленького холодильника бутылку, стаканы и лед.

– Последний мой абсент, – объявил он. – И самый подходящий повод его откупорить.

– Абсент? – не поверил я. – Настоящий?

– Да нет, не настоящий. Эрзац, как и все. Перно. Но еще из Парижа. Будь здоров, Людвиг! За то, что мы еще живы!

– Будь здоров, Роберт! – Ненавижу перно, оно отдает лакричными леденцами и анисом. – Где же ты потом во Франции был? – спросил я.

– Три месяца скрывался в монастыре в Провансе. Святые отцы были само очарование. Им явно хотелось сделать из меня католика, но они не слишком настаивали. Кроме меня, там прятались еще два сбитых английских летчика. На всякий случай мы все трое щеголяли в рясах. Я не без пользы провел это время, освежая свой английский. Отсюда мой легкий оксфордский акцент – летчики именно там получили образование. Левин вытянул из тебя все деньги?

– Нет. Но те, что ты мне послал, вытянул.

– Отлично! Для этого я тебе их и посылал. – Хирш рассмеялся. – А вот тебе то, что я от него зажал. Иначе он и их захапал бы.

Он достал две пятидесятидолларовые купюры и сунул мне в карман.

– Мне пока не надо! – сопротивлялся я. – У меня своих пока достаточно. Больше, чем когда-либо бывало в Европе! Для начала дай мне попробовать выкручиваться самому.

– Не дури, Людвиг! Мне ли не знать твои финансы. К тому же один доллар в Америке – это половина того, что он стоит в Европе, а значит, и бедняком быть здесь вдвое тяжелей. Кстати, ты что-нибудь слышал о Йозефе Рихтере? Он был еще в Марселе, когда я перебрался в Испанию.

Я кивнул.

– В Марселе его и взяли. Прямо перед американским консульством. Не успел в двери забежать. Сам знаешь, как это бывало.

– Да, знаю, – отозвался он.

Окрестности зарубежных консульств были во Франции излюбленными охотничьими угодьями что для гестапо, что для жандармерии. Ведь именно туда большинство эмигрантов при-

ходили получать выездные визы. Пока они находились в экстерриториальных зданиях самих консульств, они были в безопасности, но на выходе их частенько брали.

– А Вернер? – спросил Хирш. – С ним что?

– Сперва в гестапо изуродовали, потом в Германию увезли.

Я не спросил Роберта Хирша, как ему самому удалось выбраться из Франции. И он меня не спросил. По привычке сработало давнее конспиративное правило: чего не знаешь, того не выдашь. А сможешь ли ты выдержать последние достижения современной пытки – это еще большой вопрос.

– Ну что за народ! – вдруг воскликнул Хирш. – Это же кем надо быть, чтобы так преследовать собственных беженцев! И ты к этому народу принадлежишь...

Он уставился в одну точку. Мы помолчали.

– Роберт, – наконец спросил я. – Кто такой Танненбаум?

Роберт очнулся от своих невеселых мыслей.

– Танненбаум – это еврейский банкир. Уже много лет как здесь обосновался. Богач. И очень великодушен, если его подтолкнуть.

– Понятно. Но кто подтолкнул его помогать мне? Ты, Роберт? Опять принудительное воспитание гуманизма?

– Нет, Людвиг. Это был не я, а добрейшая эмигрантская душа на свете – Джесси Штайн.

– Джесси? Она тоже здесь? Ее-то кто сюда переправил?

Хирш рассмеялся:

– Она сама себя переправила. Причем без чьей-либо помощи. И к тому же с удобствами. Даже с шиком. Она прибыла во Америку, как когда-то Фольберг – в Испанию. Ты еще встретишь здесь много других знакомых. Даже в «Мираже». Не все сгинули, и поймали не всех.

Два года назад Фольберг несколько недель держал в осаде франко-испанскую границу. Ни выездную визу из Франции, ни въездную в Испанию он получить не смог. И пока другие эмигранты пересекали границу, карабкаясь глухими контрабандистскими тропами через горы, отчаявшийся Фольберг, которому альпинизм был уже не по летам, взял напрокат на последние деньги допотопный, но шикарный «роллс-ройс», в бензобаке которого еще оставалось километров на тридцать бензина, и покатил по автострате напрямик к границе. Владелец «роллс-ройса» изображал шофера. По такому случаю он дал Фольбергу напрокат не только авто, но и свой парадный костюм со всеми военными орденами, которые тот, восседая на заднем сиденье, гордо выпячивал. Расчет оправдался. Ни один из пограничников не додумался побеспокоить липового владельца «роллс-ройса» вопросами о какой-то там визе. Зато все, как мальчишки, толклись вокруг мотора, достоинства которого Фольберг им охотно разъяснял.

– Что, Джесси Штайн прибыла в Нью-Йорк тоже на «роллс-ройсе»? – поинтересовался я.

– Да нет. С последним рейсом «Королевы Мэри» перед самой войной. Когда она сошла на берег, срок ее визы истекал через два дня. Но ей продлили на шесть месяцев. И уже который раз продлевают еще на полгода.

У меня даже дыхание перехватило.

– Брось, Роберт. Неужели такое бывает? – не поверил я. – Неужто здесь можно продлить визу? Даже туристическую?

– Только туристическую и можно. Другие продлевать просто не нужно. Это настоящие въездные визы по так называемым квотам, которые через пять лет дают право на получение гражданства. Их выписывают сроком на десять и даже на двадцать лет! С такой квотной визой ты даже имеешь право работать, а с туристической нет. На сколько она у тебя, кстати?

– Восемь недель. Ты что, правда думаешь, что ее можно продлить?

– Почему нет? Левин и Уотсон довольно надежные ребята.

Я откинулся на спинку стула. Как-то я вдруг весь размяк. Впервые за много лет. Хирш взглянул на меня. Потом рассмеялся.

– Давай-ка отметим твое вступление в мещанскую стадию эмигрантской жизни, – заявил он. – Мы пойдем ужинать. Все, Людвиг, кончились этапы страстного пути.

– До завтрашнего утра, – возразил я. – А завтра я отправлюсь на поиски работы и тут же опять вступлю в конфликт с законом. Каково, кстати, в здешних тюрьмах?

– Очень демократично. В некоторых даже радио в камерах. Если в твоей не будет, я тебе пришлю.

– А лагеря для интернированных в Америке есть?

– Да. Но в порядке исключения только для подозреваемых в нацизме.

– Вот это фортель! – Я встал. – И куда же мы пойдем ужинать? В американскую аптеку? Я сегодня в одной такой обедал. Очень здорово. Там тебе и презервативы, и мороженое сорока двух сортов.

Хирш засмеялся:

– Это был драгстор. Нет, сегодня мы пойдем в другое место.

Он запер двери магазина.

– Это твоя, что ли, лавочка? – спросил я.

Он покачал головой.

– Я здесь только обычный рядовой продавец, – сказал он с внезапной горечью в голосе. – Невзрачный лавочник с утра до вечера. Кто бы мог подумать!

Я ничего не ответил. Я-то бы счастлив был, позволь мне кто-нибудь поработать продавцом. Мы вышли на улицу. Стылый закатный багрянец робко заглядывал между домами, будто заблудившийся и вконец продрогший бродяга. Два самолета с мерным жужжанием плыли по ясному небу. Никто не обращал на них внимания, никто не разбежался по подворотням, не падал ничком на асфальт. Двойная цепочка фонарей разом зажглась по всей длине улицы. По стенам домов обезумевшими обезьянами метались вверх-вниз разноцветные вспышки неоновых реклам. В Европе в это время уже стояла бы крошечная тьма, как в угольной шахте.

– Подумать только, тут и в самом деле нет войны, – сказал я.

– Да, – отозвался Хирш. – Войны нет. Никаких руин, никакой опасности, никаких бомбежек – ты ведь об этом, верно? – Он усмехнулся. – Опасности никакой, зато от бездеятельного ожидания выть хочется.

Я взглянул на него. Лицо его снова было замкнуто и ничего не выражало.

– Ну, что-то, а уж это я смог бы выносить довольно долго, – сказал я.

Мы вышли на большую улицу, по всей длине которой красными, желтыми, зелеными бликами весело перемигивались светофоры.

– Мы пойдем в рыбный ресторан, – решил Хирш. – Ты не забыл, как мы последний раз ели рыбу во Франции?

Я рассмеялся:

– Нет, это я хорошо помню. В Марселе. В ресторанчике Бассо в старом порту. Я ел рыбную похлебку с чесноком и шафраном, а ты салат из крабов. Угощал ты. Это была наша последняя совместная трапеза. К сожалению, нам помешали ее завершить: оказалось, в ресторане полиция, и нам пришлось смываться.

Хирш кивнул.

– На сей раз, Людвиг, обойдется без помех. Здесь ты не каждый миг балансируешь между жизнью и смертью.

– И слава Богу!

Мы остановились перед двумя большими, ярко освещенными окнами. Оказалось, это витрина. Рыба и прочая морская живность были выложены здесь на мерцающем насте дробленого льда. Аккуратные шеренги рыб живо поблескивали серебром чешуи, но смотрели тусклыми, мертвыми глазами; разлапистые крабы отливали розовым – уже сварены; зато огром-

ные омары, походившие в своих черных панцирях на средневековых рыцарей, были еще живы. Поначалу это было не заметно, и лишь потом ты замечал слабые подрагивания усов и черных выпученных глаз пуговицами. Эти глаза смотрели, они смотрели и двигались. Огромные клешни лежали почти неподвижно: в их сочленения были воткнуты деревянные шпильки, дабы хищники не покалечили друг друга.

– Ну разве это жизнь, – сказал я. – На льду, распятые, и даже пикнуть не смей. Прямо как эмигранты беспаспортные.

– Я тебе закажу одного. Самого крупного.

Я отказался.

– Не сегодня, Роберт. Не хочу свой первый же день ознаменовывать убийством. Сохраним жизнь этим несчастным. Даже столь жалкое существование им, наверное, кажется жизнью, и они готовы ее защищать. Закажу-ка я лучше крабов. Они уже сварены. А ты что будешь?

– Омара! Хочу избавить его от мук.

– Два мировоззрения, – заметил я. – У тебя более жизненное. Мое недостаточно критично.

– Ничего, скоро это изменится.

Мы вошли в ресторан «Дары моря». Нас обдало волной тепла и одуряющим запахом рыбы. Почти все столики были заняты. По залу носились официанты с огромными блюдами, из которых, словно кости после людоедского пиршества, торчали огромные крабы клешни. За одним из столиков, растопырив локти, восседали двое полицейских, присосавшихся к крабьим клешням, точно к губным гармошкам. Я непроизвольно попятился, ища глазами выход. Роберт Хирш подтолкнул меня в спину.

– Бегать больше незачем, Людвиг, – сказал он со смешком. – Правда, легальная жизнь тоже требует мужества. Иногда даже большего, чем бегство.

Сидя в красном плюшевом будуаре, который именовался в «Мираже» салоном, я учил английскую грамматику. Было уже поздно, но спать идти не хотелось. В комнатенке по соседству, именовавшейся приемной, тихо хозяйничал Мойков. Спустя некоторое время я услышал, как к дверям кто-то подходит; походка была прихрамывающая. Эта странная, как бы запинаяющаяся в синкопе хромота сразу напомнила мне о ком-то, кого я знал еще в Европе. Но в полутьме разглядеть пришельца не удавалось.

– Лахман! – окликнул я наугад.

Человек остановился.

– Лахман! – повторил я, включая верхний свет. Нехотя, тусклым желтоватым маревом он полился из-под потолка с трехрожковой люстры в стиле модерн. Человек уставился на меня, недоуменно мигая.

– Господи, Людвиг! – воскликнул он наконец. – Давно ли ты здесь?

– Три дня уже. Я тебя по походке узнал.

– По моей проклятой поступи амфибрахием?

– По твоему вальсирующему шагу, Курт.

– Как же ты сюда перебрался? Уж не по визе ли Рузвельта? Или по спискам наиболее ценных, подлежащих спасению представителей европейской интеллигенции?

Я покачал головой:

– Наш брат в этих списках не значится. Не настолько мы, бедолаги, знамениты.

– Я-то уж точно, – подтвердил Лахман.

Вошел Мойков.

– Так вы знакомы?

– Да, – ответил я. – Знакомы. Давно. И по многим тюрьмам.

Мойков снова выключил верхний свет и принес бутылку.



– Самый подходящий повод пропустить рюмашку, – заметил он. – Праздники надо отмечать в порядке их поступления. Водка за счет отеля. У нас тут гостеприимство.

– Я не пью, – отказался Лахман.

– И очень правильно! – одобрил Мойков, наливая только мне. – Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и часто праздновать встречи, – заявил он. – К тому же это дарит иллюзию долгой жизни.

Ни Лахман, ни я ничего на это не ответили. Мойков был другого поколения – из тех, кто в семнадцатом бежал из России. То, что в нас еще полыхало пламенем, в нем давно уже улеглось пеплом легенды.

– Ваше здоровье, Мойков! – сказал я. – И почему мы не родились йогами? Или в Швейцарии?

Лахман горько усмехнулся:

– Да хотя бы не евреями в Германии, и то хорошо!

– Вы передовой отряд граждан мира, – невозмутимо возразил Мойков. – Вот и ведите себя как настоящие первопроходцы. Вам еще памятники будут ставить.

И пошел к стойке выдать кому-то ключ.

– Остряк, – сказал Лахман, глядя ему вслед. – Ты для него что-нибудь делаешь?

– В каком смысле?

– Водка, героин, тотализатор, ну и прочее?

– Он этим занимается?

– Говорят.

– Ты за этим и пришел?

– Нет. Но прежде я тоже тут ютился. Как и почти всякий новоприбывший.

Подарив мне взгляд заговорщика, Лахман уселся рядом.

– Понимаешь, все дело в одной женщине, она тут живет, – зашептал он. – Представь себе: пуэрториканка, сорок пять лет, одна нога не ходит, она под машину попала. У нее сожитель есть, сутенер-мексиканец. Так вот, этот мексиканец готов за пять долларов предоставить нам ложе. У меня больше есть! Так она не хочет! Слишком набожная. Прямо беда! Она верна ему. Он ее за это колотит, а она все равно не соглашается. Она уверена, что Бог смотрит на нее из облака. Даже ночью. Я ей внушаю, что у Бога близорукость, причем давно. Какое там! Но деньги берет! И все обещает! Деньги отдает сутенеру. А обещанного не исполняет и смеется. И обещает снова. Я с ума от нее сойду! Просто наказание!

Лахман страдал комплексом своей хромоты. Говорят, в прежние времена в Берлине он был большим ходоком по части женщин. Так вот, боевая группа штурмовиков, прослышав про это, однажды затащила его в свой кабак, намереваясь оскотить, чему, по счастью, – это было еще в тридцать третьем – помешала подроспевшая полиция. Лахман отделался выбитыми зубами, шрамами на мошонке и переломами ноги в четырех местах, которые неправильно срослись, потому что больницы тогда уже отказывались принимать евреев. С тех пор он хромал и питал слабость к женщинам, страдающим, как и он, легкими физическими изъянами. Лахмана устраивала любая, лишь бы зад у нее был крепкий и округлый, как орех. Он утверждал, что в Руане познал женщину с тремя грудями. Это оказалась роковая любовь его жизни. Его там дважды залавливала полиция и высылала в Швейцарию. С целеустремленностью маньяка он вернулся туда в третий раз – так самец павлиноглазки находит свою самочку за много километров и даже в проволочной сетке коллекционера. На сей раз его упрятали в Руане на месяц в тюрьму, а потом снова выдворили. Он бы тупо направился туда же и в четвертый раз, не вступи во Францию немцы. Так Гитлер, сам того не зная, спас еврею Лахману жизнь...

– Ты ничуть не изменился, Курт, – сказал я.

– Человек вообще не меняется, – мрачно возразил Лахман. – Когда его совсем прижмет, он клянется начать праведную жизнь, но дай ему хоть чуток вздохнуть, и он разом забывает все свои клятвы. – Лахман и сам вздохнул. – Одного не пойму, геройство это или идиотизм?

– Геройство, – утешил я его. – В нашем положении надо украшать себя только доблестями.

Лахман отер пот со лба. У него была голова тюленя.

– Да и ты все тот же. – Он снова вздохнул и достал из кармана нечто завернутое в подарочную бумагу. – Четки, – пояснил он. – Я этим торгую. Реликвии и амулеты. А также иконки, фигурки святых, лампадки, освященные свечи. Вхож в самые узкие католические круги. – Лахман приподнял четки. – Чистое серебро и слоновая кость, – похвастался он. – Освящены самим папой. Как ты думаешь, это ее сломит?

– Каким папой?

Он растерялся.

– Как каким? Пием. Пием Двенадцатым, кем же еще?

– Лучше бы Бенедиктом Пятнадцатым. Во-первых, он умер, а это всегда повышает ценность, как с почтовыми марками. Во-вторых, он не был фашистом.

– Опять ты со своими дурацкими шуточками! А я и забыл совсем. В последний раз в Париже...

– Стоп! – сказал я. – Только без воспоминаний!

– Как хочешь. – Лахман немного поколебался, но потом жажда сообщения все же взяла верх. Он развернул еще один сверток. – Обломок смоковницы из Гефсиманского сада, из Иерусалима! Подлинный, со штемпелем и письменным подтверждением! Если уж это ее не размягчит, тогда что? – Он смотрел на меня умоляюще.

Я с увлечением разглядывал вещицы.

– И много это приносит? – любопытствовал я. – Ну, торговля всем этим?

Лахман вдруг насторожился.

– Ровно столько, чтобы не подохнуть с голода, а что? Или ты решил составить мне конкуренцию?

– Да простое любопытство, Курт, и больше ничего.

Он взглянул на часы.

– В одиннадцать я должен за ней зайти. Ругай меня! – Он встал, поправил галстук и заковылял вверх по лестнице. Потом вдруг еще раз оглянулся. – Что я могу поделывать? – жалобно простонал он. – Такой уж я страстный человек! Просто напасть какая-то! Вот увидишь, я когда-нибудь умру от этого! Но что еще остается?

Я захлопнул свою грамматику и откинулся в кресле. С моего места хорошо просматривался кусок улицы. Дверь была раскрыта, должно быть, по причине жары, и свет фонаря над аркой входа проникал снаружи в холл, выхватывая из темноты угол стойки и утыкаясь в черный проем лестницы. В зеркале напротив повисла серая муть, тщетно силясь отлить серебром. Я бессмысленно на нее тарасился. Красные плюшевые кресла казались сейчас, против света, почти фиолетовыми, и на какой-то миг мне вдруг почудилось, что пятна на них – это потеки запекшейся крови. Где же я видел все это? Кровь, запекшиеся пятна, небольшая комната, за окнами которой ослепительно рдеет закат, отчего все предметы в комнате стали как будто бесцветными и тонут в странной бесплотной дымке, где смешалось серое, черное, вот такое же темно-красное и фиолетовое. Скрюченные, окровавленные тела на полу и лицо за окном, которое внезапно отворачивается, отчего одну его половину разом высвечивают косые лучи закатного солнца, тогда как другая остается чернеть в тени. И высокий гнусавый голос, который скучливо произносит:

– Продолжайте! Следующего берем!

Быстро встав, я снова включил верхний свет. И только после этого огляделся. Тусклый желтоватый свет люстры засочился вниз, неохотно и скудно освещая кресла и плюшевую софу, все такие же аляповатые и бордовые. Нет, это не кровь. Я посмотрел в зеркало; в нем отражалась только стойка у входа – и ничего больше.

– Нет, – громко сказал я. – Нет! Только не здесь!

Я подошел к стойке. Стоявший за ней Мойков поднял на меня глаза.

– Не хотите сыграть партию в шахматы?

Я покачал головой.

– Попозже. Хочу еще немного пройтись. На витрины поглазеть, на все это нью-йоркское освещение. В Европе в это время бывало темно, как в угольной шахте.

Мойков взглянул на меня с сомнением.

– Только не пытайтесь приставать к женщинам, – предупредил он. – Могут и полицию позвать. Нью-Йорк – это вам не Париж. Европейцы обычно об этом забывают.

Я остановился.

– Что же, в Нью-Йорке нет проституток?

Складки на лице Мойкова углубились.

– Только не на улице. Там их гоняет полиция.

– Тогда в борделях?

– Там полиция их тоже гоняет.

– Тогда как же американцы размножаются?

– В честном буржуазном браке под присмотром всемогущественных женских союзов.

Признаться, я был изумлен. Похоже, в Америке проституток преследовали не меньше, чем в Европе эмигрантов.

– Я буду осмотрителен, – пообещал я. – Да и английский у меня не тот, чтобы с женщинами заигрывать.

Я вышел на улицу, которая распростерлась передо мной во всей своей стерильной непорочности. В этот час в Париже проститутки цокали по тротуарам на своих высоких каблучках либо стояли в полутьме под синими фонарями бомбоубежищ. Их живучее племя не ведало страха даже перед гестапо. Они же оказывались случайными спутницами нашего брата беженца, когда тот, одурев от одиночества и самого себя, наскребал немного денег на скоротечный час безличной покупной ласки. Я смотрел на прилавки деликатесных магазинов, что ломились от изобилия ветчин, колбас, сыров, ананасов. «Прощайте, милые подруги парижских ночей! – думал я. – Судя по всему, мне уготованы здесь муки анахорета и улады рукоблудия!»

Я остановился перед магазинчиком, на картонной вывеске которого значилось: «Горячие пастроми». Это была лавочка деликатесов. Даже в этот поздний час дверь была открыта. Похоже, в Нью-Йорке и впрямь нет комендантского часа.

– Порцию горячих пастроми, – твердо сказал я.

– Он гуде?<sup>8</sup> – Продавец показал на черный хлеб.

Я кивнул.

– И с огурцом. – Я ткнул в маринованный огурец.

Продавец придвинул ко мне тарелку. Я уселся на высокий табурет возле стойки и принялся за еду. Я понятия не имел, что такое пастроми. Оказалось, это горячее консервированное мясо, очень вкусное. Все, что я ел в эти дни, было невероятно вкусно. К тому же я постоянно был голоден и ел с удовольствием. На острове Эллис вся еда имела какой-то странный привкус; поговаривали, что туда добавляют соду – для подавления полового инстинкта.

---

<sup>8</sup> С черным? (англ.)

Кроме меня, за стойкой сидела еще только очень хорошенькая девушка. Сидела так тихо, что казалось, лицо у нее из мрамора. Покрытые лаком волосы гладко облегли ее точеную головку египетского сфинкса. Она была сильно накрашена. В Париже я бы решил, что это проститутка; там только шлюхи так красятся.

Мне вспомнился Хирш. Я был у него сегодня после обеда.

– Тебе нужна женщина, – убеждал он меня. – И как можно скорее! Ты слишком долго был один. Лучше всего найди себе эмигрантку. Она тебя поймет. С ней ты сможешь разговаривать. Хочешь по-немецки, хочешь по-французски. Да и по-английски тоже. Одиночество – это болезнь, очень гордая и на редкость вредная. Мы с тобой свое отболели.

– А американку? – спросил я.

– Пока лучше не надо. Через несколько лет – может быть. Не добавляй себе лишних комплексов, у тебя своих достаточно.

Я заказал себе еще и порцию шоколадного мороженого. Вошли двое гомосексуалистов с парой абрикосовых пуделей, купили сигарет и пирожных с кремом. Все-таки чудно, подумал я. Все ждут, что я стану прямо бросаться на женщин; а у меня и желания-то нет. Непривычный свет ночных улиц возбуждает меня куда больше.

Я медленно побрел обратно к гостинице.

– Ну что, не нашли? – поинтересовался Мойков.

– Да я и не искал.

– Тем лучше. Коли так, можно без помех сыграть тихую партию в шахматы. Или вы устали?

Я покачал головой.

– На свободе не так быстро устаешь.

– Это кто как, – возразил Мойков. – Обычно эмигранты, прибыв сюда, прямо на глазах разваливаются и сутками только и знают, что спать. Должно быть, реакция организма на долгожданную безопасность. У вас нет?

– Нет. По крайней мере я ничего такого не чувствую.

– Значит, еще накатит. Никуда не денетесь.

– Ну и ладно.

Мойков принес шахматы.

– Лахман уже ушел? – спросил я.

– Нет еще. По-прежнему наверху у своей ненаглядной.

– Думаете, сегодня ему повезет?

– С чего вдруг? Она потащит его ужинать вместе со своим мексиканцем, а он за всех заплатит. Он что, всегда такой был?

– Он уверяет, что нет. Говорит, что приобрел этот комплекс вместе с хромотой.

Мойков кивнул.

– Может быть, – сказал он задумчиво. – Впрочем, мне все это безразлично. Вы даже представить не можете, сколько всего становится человеку безразлично в старости.

– А вы давно здесь?

– Двадцать лет.

Краем глаза я заметил в дверях какую-то легкую тень. Чуть подавшись вперед, там стояла молодая женщина и смотрела на нас. Строгий овал бледного лица, ясный и твердый взгляд серых глаз, рыжие волосы, которые почему-то показались мне крашеными.

– Мария! – Мойков от неожиданности вскочил. – Когда же вы вернулись?

– Вчера.

Я тоже встал. Мойков чмокнул девушку в щечку. Ростом она оказалась чуть ниже меня. На ней был узкий, облегающий костюм. Голос низкий и с хрипотцой, как будто чуть надтреснутый. Меня она не замечала.

– Водки? – спросил Мойков. – Или виски?

– Лучше водки. Но на мизинец, не больше. Мне надо бежать. У меня еще сеанс. Говорила она очень быстро, почти захлеб.

– Так поздно?

– Фотограф только в это время свободен. Платья и шляпки. Очень маленькие. Прямо крохотульки.

Тут я заметил, что на ней и сейчас шляпка, вернее, очень маленький берет, этакая черненькая финтифлюшка, косо сидящая в волосах.

Мойков пошел за бутылкой.

– Вы ведь не американец? – спросила девушка по-французски. Она и с Мойковым по-французски говорила.

– Нет. Я немец.

– Ненавижу немцев, – отрезала она.

– Я тоже, – ответил я.

Она вскинула на меня глаза.

– Я не то имела в виду! – выпалила она смущенно. – Не вас лично.

– Я тоже.

– Вы не должны сердиться. Это все война.

– Да, – отозвался я как можно равнодушной. – Это все война, я знаю.

Уже не в первый раз меня оскорбляли из-за моей национальности. Во Франции это случилось сплошь и рядом. Война и вправду золотое время для простых обобщений.

Мойков вернулся, неся бутылку и три маленькие стопочки.

– Мне не нужно, – сказал я.

– Вы обиделись? – спросила девушка.

– Нет. Просто пить не хочу. Надеюсь, вам это не мешает.

Мойков понимающе ухмыльнулся.

– Ваше здоровье, Мария! – сказал он, поднимая рюмку.

– Напиток богов, – вздохнула девушка и опустошила рюмку одним махом, резко, как пони, запрокинув голову.

Мойков схватился за бутылку.

– Еще по одной? Рюмочки-то малюсенькие.

– Grazie<sup>9</sup>, Владимир. Достаточно. Мне надо бежать. Au revoir!<sup>10</sup>

Она протянула мне руку.

– Au revoir, monsieur<sup>11</sup>.

Рукопожатие у нее оказалось неожиданно крепкое.

– Au revoir, madame<sup>12</sup>.

Мойков, вышедший ее проводить, вернулся.

– Она вас разозлила?

– Да нет. Я сам все спровоцировал. Мог бы сказать, что у меня австрийский паспорт.

– Не обращайтесь внимания. Она не хотела. Просто говорит быстрее, чем думает. Она поначалу почти каждого исхитряется разозлить.

---

<sup>9</sup> Спасибо (*ит.*).

<sup>10</sup> До свиданья! (*фр.*)

<sup>11</sup> До свиданья, месье (*фр.*).

<sup>12</sup> До свиданья, мадам (*фр.*).

– Правда? – спросил я, почему-то только сейчас начиная злиться. – Вроде бы не такая уж она и красавица, чтобы так заноситься.

Мойков усмехнулся.

– Сегодня у нее не лучший день, но чем дольше ее знаешь, тем больше она располагает к себе.

– Она что, итальянка?

– Вроде того. Зовут ее Мария Фиола. Помесь, как и почти все здесь; мать, по-моему, была то ли испанской, то ли русской еврейкой. Работает фотомodelью. Раньше жила здесь.

– Как и Лахман, – заметил я.

– Как Лахман, как Хирш, как Лёвенштайн и многие другие, – с готовностью подтвердил Мойков. – Здесь у нас дешевый интернациональный караван-сарай. Но все-таки это на разряд выше, чем национальные гетто, где поначалу обычно поселяются новоприбывшие.

– Гетто? Здесь они тоже есть?

– Их так называют. Просто многих эмигрантов тянет жить среди земляков. Зато дети потом мечтают любой ценой вырваться оттуда.

– Что, и немецкое гетто тоже есть?

– А как же. Йорквилл. Это в районе Восемьдесят шестой улицы, где кафе «Гинденбург».

– Как? «Гинденбург»? И это во время войны?

Мойков кивнул.

– Здешние немцы иной раз похлеще нацистов.

– А эмигранты?

– Некоторые тоже там живут.

На лестнице раздались шаги. Я тотчас же узнал хромающую поступь Лахмана. Ее сопровождал глубокий, очень мелодичный женский голос. Должно быть, пуэрториканка. Она шла впереди Лахмана, не слишком заботясь о том, поспевает ли за ней ее обожатель. Не похоже было, что у нее парализованная нога. Говорила она только с мексиканцем, который вел ее под руку.

– Бедный Лахман, – сказал я, когда вся группа удалилась.

– Бедный? – не согласился Мойков. – Почему? У него есть то, чего у него нет, но что он хотел бы заполнить.

– И то, что остается с тобой навсегда, верно?

– Беден тот, кто уже ничего не хочет. Не хотите ли, кстати, выпить рюмочку, от которой недавно отказались?

Я кивнул. Мойков налил. На мой взгляд, расходовал он свою водку как-то уж слишком расточительно. И у него была очень своеобразная манера пить. Маленькая стопка полностью исчезала в его громадном кулаке. Он не опрокидывал ее залпом. Мечтательно поднеся руку ко рту, он медленно проводил ею по губам, и только затем в его длани обнаруживалась уже пустая стопка, которую он бережно ставил на стол. Как он ее выпил, понять было нельзя. После этого Мойков снова открывал глаза, и в первый миг казалось, что они у него совсем без век, как у старого попугая.

– Как теперь насчет партии в шахматы? – спросил он.

– С удовольствием, – сказал я.

Мойков принялся расставлять фигуры.

– Самое замечательное в шахматах – это их полная нейтральность, – заявил он. – В них нигде не прячется проклятая мораль.

## IV

Всю следующую неделю мой второй, нью-йоркский возраст стремительно прогрессировал. Если во время первой прогулки по городу мои познания в английском соответствовали уровню пяти-шестилетнего ребенка, то неделю спустя я находился уже примерно на девятом году жизни. Каждое утро я проводил несколько часов в гостиничном холле, в красном плюшевом кресле с английской грамматикой в руках, а после обеда старался не упустить любую возможность мучительного, косноязычного общения. Я знал: мне обязательно нужно научиться хоть как-то изъясняться еще до того, как у меня кончатся деньги, – без этого я просто не смогу зарабатывать. Это был краткий языковый курс наперегонки со временем, к тому же весьма ограниченным. Так в ходе обучения у меня последовательно появлялся французский, немецкий, еврейский, а под конец, когда я уже наловчился уверенно различать чистокровных американок среди официанток и горничных, даже бруклинский акцент.

– Надо тебе завести роман с учительницей, – советовал Мойков, с которым мы тем временем перешли на ты.

– Из Бруклина?

– Из Бостона. Говорят, там лучший английский во всей Америке. Здесь-то, в гостинице, акценты кишат, как тифозные бактерии. У тебя, похоже, хороший слух только на крайности, норму, к сожалению, ты вообще не слышишь. А так чуток эмоций, и дело, глядишь, веселее пошло бы.

– Владимир, – урезонивал я его, – я и так достаточно стремительно развиваюсь. Каждый день мое английское «я» взрослеет чуть ли не на год. К сожалению, при этом и мир вокруг теряет обаяние волшебства. Чем больше слов я понимаю, тем дырявее покров неизведанности. Надменные небожители из драгсторов мало-помалу превращаются в заурядных торговцев сосисками. Еще несколько недель, и оба моих «я» сравняются. Тогда, вероятно, и наступит окончательное прозрение. Нью-Йорк перестанет казаться сразу Пекином и Багдадом, Афинами и Атлантидой, а будет только Нью-Йорком, и мне, чтобы вспомнить о южных морях, придется тащиться в Гарлем или в китайский квартал. Так что лучше уж ты меня не торопи. И с акцентами тоже. Неохота мне так уж быстро расставаться со своим вторым детством.

Вскоре я уже хорошо знал все антикварные магазины и лавочки на Второй и Третьей авеню. Людвиг Зоммер, чей паспорт обрел во мне своего второго владельца, при жизни был антикваром. Я побывал у него в обучении, а он свое дело знал хорошо.

В этой части Нью-Йорка были сотни подобных магазинчиков. Больше всего я любил совершать такие экскурсии под вечер. Об эту пору солнце уже заглядывало сюда как бы искоса, и казалось, сквозь витрины на другой стороне улицы оно заталкивает в лавочки белесые призмы пыли, словно факир, бесшумно проникающий сквозь стекло, как сквозь тихую воду. Тогда, будто по таинственному приказу, старинные зеркала на стенах разом оживали, заполняясь серебристыми омотами пространства. Только что они были подслеповатыми пятнистыми плоскостями – и вдруг становились окнами в бесконечность, погружая в себя многоцветные туманности картин с противоположного тротуара.

Словно по мановению мага, витрины, эти скопища запыленной рухляди и допотопного хлама, вдруг оживали. Ведь обычно казалось, что время остановилось, жалобно замерло в них, что они как бы отрезаны от всей это бурной уличной жизни, которая течет мимо, никак их не затрагивая. Витрины стояли неживые, потухшие, будто старинные печи, которые уже никого не греют, но все еще силятся создать хотя бы видимость былого тепла. Они были мертвы – однако тем безболезненным и нескорбным омертвлением, каким остается в нас пережитое, утратившее свой трагизм прошлое: воспоминаниями, которые уже не причиняют и, вероятно, никогда

не причинят боли. За их стеклами, будто диковинные рыбы, жили своей бесшумной жизнью антиквары – то вяло блеснув толстыми окулярами очков и просунув сазанью голову между одеяниями китайских мандаринов, то невозмутимо восседая под старинными гобеленами в окружении лакированных тибетских демонов с детективным романом или газетой в руках.

Но все это разом преобразалось, едва золотистые косые лучи предвечернего солнца охватывали правую сторону авеню своим медовоцветным волшебством, в то время как витрины напротив уже начинали затягиваться мгlistой паутиной вечерних сумерек. Это был миг, когда мягкий свет уходящего дня сообщал лавчонкам обманчивую видимость жизни, обволакивая их заемным мерцанием призрачного зазеркалья, где они разом просыпались – словно рисованные часы над лавкой часовщика в ту секунду, когда время, запечатленное на них, вдруг ненароком совпадает с действительным.

\* \* \*

Дверь антикварного магазинчика, перед которым я стоял, внезапно распахнулась. Из нее бесшумно вышел худенький невысокий человечек с орлиным носом и в зеленоватых брюках в мелкую клеточку. Видимо, он уже давно наблюдал за мной.

– Славный вечерок, правда? – заговорил он.

Я кивнул. Он продолжал меня разглядывать.

– Вам что-нибудь понравилось в витрине? – спросил он.

Я показал на бронзовую китайскую вазу, которая стояла на псевдовенецианском постаменте.

– Это что?

– Бронзовая ваза, Китай. Совсем недорого. Да вы зайдите, взгляните.

Я последовал за ним. Продавец достал вазу с витрины.

– Она старинная?

– Не очень. – Он посмотрел на меня чуть пристальнее. – Это копия старинного оригинала. Эпоха Мин<sup>13</sup>, я так полагаю.

– И сколько же она может стоить? – Я как можно безразличнее смотрел на улицу. «Александр Силвер и К<sup>о</sup>», прочел я задом наперед на стекле витрины.

– Пятьдесят долларов – и она ваша, – сказал Александр Силвер. – И резная подставка тикового дерева в придачу. Ручная работа.

Я взял бронзу в руки. Она была хороша. Рельефы хотя и резкие, но не производили впечатления новых; патина не была отполирована и потому не имела того мерцающего бледно-зеленого отлива, которым отличаются большие вазы в музеях. Малахитовых инкрустаций на ней тоже не было. Я закрыл глаза и начал долго, медленно ощупывать вазу. Я частенько проделывал то же самое в Брюсселе. В приютившем меня музее была очень приличная коллекция бронзы эпохи Чжоу<sup>14</sup>. Там и ваза похожая была, и про нее тоже думали сначала, что это копия эпохи Тан<sup>15</sup> или Мин. Что и неудивительно. Китайцы еще в эпоху Хань<sup>16</sup>, как раз на рубеже нашей эры, начали подделывать старинную бронзу эпох Инь<sup>17</sup> и Чжоу, закапывая новые изделия в землю, дабы скорее придать их патине оттенок подлинной старины. Всем этим тонкостям меня еще Зоммер обучил. Ну, а кое-чему я и сам уже в Брюсселе доучился.

Силвер все еще наблюдал за мной.

---

<sup>13</sup> Мин – китайская императорская династия в 1368–1644 гг.

<sup>14</sup> Чжоу – название эпохи в истории Древнего Китая и китайской династии в 1027–256 гг. до н. э.

<sup>15</sup> Тан – китайская императорская династия в 618–907 гг. н. э.

<sup>16</sup> Хань – китайская императорская династия в 206 г. до н. э. – 220 г. н. э.

<sup>17</sup> Инь – древнекитайское государство в 14–11 вв. до н. э.



– Вы уверены, что это на самом деле копия эпохи Мин? – спросил я.

– Я мог бы сказать и «нет», – ответил он. – Но мы работаем честно. Я вижу, вы разбираетесь. – Он поставил ногу на низенький голландский стул. Только тут я заметил, что клетчатые штаны сочетаются в его туалете с лакированными туфлями и лиловыми носками. – Я купил эту вещь как копию восемнадцатого века, – продолжал он. – Это, конечно, не так, но она не старше шестнадцатого. Нашей эры, разумеется.

Я поставил бронзу обратно на псевдовенецианский постамент. Она стояла очень дешево, и я приобрел бы ее с радостью, но мне было невдомек, кому ее перепродать, а инвестировать свои скудные средства я мог только в краткосрочные сделки. Кроме того, я должен быть твердо уверен, что не ошибся.

– А нельзя ли мне забрать ее на день? – спросил я.

– Вы можете забрать ее хоть на всю жизнь. За пятьдесят долларов.

– Нет, на пробу. На сутки.

– Послушайте, дорогой мой, – сказал Александр Силвер. – Я ведь вас совсем не знаю. В последний раз я вот так же отдал одной внушающей безусловное доверие даме две изумительные фарфоровые статуэтки. Мейсенский фарфор, восемнадцатый век. Тоже на пробу.

– И что? Дама так и не вернулась?

– Вернулась. С расколотыми статуэтками. В переполненном омнибусе какой-то работяга ящиком с инструментами выбил их у нее из рук. Она рыдала так, будто потеряла ребенка. А что мы могли поделать? Денег у нее нет. Просто хотела пустить пыль в глаза подружкам по бриджу. Пришлось списать в убытки.

– Бронза так легко не бьется. Особенно если это копия.

Силвер стрельнул в меня взглядом.

– Я вам даже скажу, где я ее купил. Ее выбраковали в одном провинциальном музее. Как копию. Где вы видели подобную честность?

Я молчал. Силвер мотнул головой.

– Хорошо! – сказал он. – Вы настойчивы, и мне это нравится. Я вам предлагаю другое решение. Вы платите пятьдесят долларов, забираете бронзу и можете вернуть мне ее через неделю. Я возвращаю вам деньги. Либо вы оставляете бронзу себе. Что скажете?

Я лихорадочно соображал. Полной уверенности у меня не было – с китайской бронзой это почти всегда так. Да и откуда мне было знать, сдержит Силвер свое слово или обманет. Но где-то же надо рискнуть, а тут возможность сама плыла в руки. Ведь здесь, в Америке, я даже посудомойщиком устроиться не могу – и на такую работу нужно иметь разрешение, а у меня его нет. Даже пытаться бесполезно: если полиция не снапает, так профсоюзы донесут.

– Идет! – решил я и полез за своим тощим бумажником.

Брюссельский музей, где мне пришлось прятаться, располагал очень богатым собранием китайской бронзы. Вечерами, когда музей закрывался, директор на всю ночь выпускал меня из кладовки. Мне, правда, не разрешалось зажигать свет и подходить близко к окнам, зато можно было ходить в туалет и вообще разгуливать по музею сколько угодно. Рано утром, до прихода уборщиц, я должен был снова запереться. Странное это было приобщение к искусству, уединенное, призрачное и пугающее. Сперва я вообще только прятался за портьерами, глаза на ночную улицу, – точно так же потом, с острова Эллис, я разглядывал ночной Нью-Йорк. Но, приметив однажды среди солдатни и штатской публики черные эсэсовские мундиры, я это занятие бросил. Стараясь впредь как можно меньше думать о своем положении, я принялся в тусклых ночных отсветах изучать картины и художественные собрания музея. Практика, приобретенная в Париже у Людвиг Зоммера, когда я работал на него носильщиком, сослужила мне добрую службу. Кроме того, в Германии я как-никак два семестра изучал историю искусств, прежде чем решил посвятить себя журналистике. Конечно, после изгна-

ния на журналистике пришлось поставить крест: ни одним иностранным языком я не владел настолько, чтобы на нем писать. Теперь же, коротая гробовую тишину ночи в пустых, отзывающихся гулким эхом залах музея, я старался пробудить в себе истовый интерес к искусству, чтобы поменьше думать о собственной участи. Я знал: если буду продолжать глазеть на улицу – мне крышка. Надо было двигаться, как-то себя развлекать. И первым, что меня всерьез захватило, оказалась коллекция китайской бронзы. Светлыми лунными ночами я принялся ее изучать. Она мерцала, как нефрит, матово отливая зеленью и голубизной блеклого шелка. Вместе с переменами зыбкого ночного освещения менялись и оттенки патины. В эти месяцы я научился понимать: надо уметь долго смотреть на вещи, прежде чем они с тобой заговорят. Конечно, я научился этому от отчаяния, силясь во что бы то ни стало победить страх, и долгое время это упорное глазение было всего лишь бегством от самого себя, покуда в одну из ночей, при ясном свете умытого весенней грозой лунного полумесяца, вдруг не обнаружил, что впервые начисто позабыл о своем страхе и на несколько мгновений как бы слился с этой бронзой. Меня ничто больше от нее не отделяло, и на короткое время, пока длилось это чудо, рядом со мной ничего не было – только эта беспокойная ночь, безмолвная бронза, лунный свет, который так ее оживлял, и что-то еще в ней, должно быть, ее душа, которая была тут, подле меня, тихо жила, дышала и слушала, тоже на миг позабыв о своем «я». С тех пор мне все чаще удавалось вот так забываться, напрочь убегая от самого себя. А еще через пару недель директор принес мне карманный фонарик, чтобы я не сидел по ночам в своей кладовке совсем уж впотьмах. Должно быть, он понял, что мне можно доверять и что у меня хватит ума пользоваться этим фонариком только в кладовке, а не в музейных залах. А для меня это была такая радость, будто мне вернули дар зрения. И чтения. Теперь я мог выискивать в библиотеке книги и брать их на ночь в кладовку. А к утру относил обратно. Когда же директор заметил мой интерес к бронзе, он разрешил мне иногда забирать с собой в кладовку какой-нибудь из экспонатов, который утром, когда он приносил бутерброды, я ему возвращал. О том, что я прячусь в музее, кроме него знал еще только один человек – его дочь Сибилла. Как-то директор заболел и в музей прийти не смог, вот и пришлось ему все ей рассказать. Сибилла приходила в музей за отцовской почтой и приносила мне бутерброды в пергаментной бумаге, пряча их у себя между грудей. Иногда они еще хранили тепло ее кожи, а от бумаги веяло едва слышным ароматом гвоздики. Я был страстно влюблен в Сибиллу, но это была почти анонимная любовь, о которой девушка, вероятно, почти не догадывалась. Я любил в ней то, чего сам поневоле лишился: свободу, беззаботность, трепет надежды и сладостное томление юности, которого во мне больше не было. Совместную жизнь с ней я вообразить не мог: она была для меня слишком символична; это был теплый, близкий, но все равно недостижимый символ всего, что я давно утратил. Моя юность оборвалась вместе с предсмертными криками отца. Он кричал весь день, и я знал, по чьему приказу его убивают.

– Ты хоть что-нибудь смыслишь в этом деле? – беспокоился Мойков. – Пятьдесят долларов – приличные деньги.

– Не слишком много, но кое-что. А кроме того, что мне еще остается? Надо же с чего-то начинать.

– Где ты этому научился?

– В Париже и в одном музее в Брюсселе.

– Что, работал? – с изумлением спросил Мойков.

– Прятался.

– От немцев?

– От немцев, которые вошли в Брюссель.

– Чем же ты там еще занимался?

– Французский учил, – ответил я. – У меня был учебник грамматики. Как и сейчас. Летом, когда музей закрывали, было еще не темно. А потом мне выдали карманный фонарик.

Мойков понимающе кивнул.

– И что же, музей не охраняли?

– От кого? От немцев? Они бы и так взяли, что захотели!

Мойков рассмеялся.

– Да уж, жизнь, она чему только не научит. Я, когда в Финляндию бежал, почти случайно прихватил с собой карманные шахматы. Пока прятался, играл сам с собой почти беспрерывно, лишь бы отвлечься. И постепенно стал вполне приличным шахматистом. Потом, в Германии, шахматы меня кормили. Уроки давал. Вот уж не думал, не гадал. И ты всегда занимался антиквариатом?

– Примерно так же, как ты шахматами.

– Я так и думал.

Не мог же я ему рассказать про Зоммера и про мой фальшивый паспорт. В паспорте, кстати, было указано, что Зоммер по профессии антиквар, и на острове Эллис какой-то инспектор даже меня экзаменовал. Я выдержал экзамен: очевидно, у Зоммера и в Брюсселе я и вправду кое-чего поднабрался. Причем решающими оказались именно мои познания в китайской бронзе. Как ни странно, инспектор, по счастью, тоже кое-что в ней смыслил. Верующие христиане, вероятно, сочли бы случайную общность наших интересов милосердной волей providения.

С улицы я еще издали слышал характерную припрыжку Лахмана. Мойкова позвали к телефону. Лахман, ковыляя, ввалился в плюшевый будуар. Он тут же углядел мою бронзу.

– Купил? – спросил он с порога.

– И да, и нет.

– Промашка, – категорично заявил он. – Сразу видно, что ты новичок. В торговле надо начинать с малого. С мелких вещей, которые нужны каждому. Носки, мыло, галстуки...

– Четки, иконки, – подхватил я. – Особенно еврею, как ты.

Он отмахнулся:

– Это совсем другое. Для этого дар нужен. А у тебя какой дар? Так, нужда одна! Впрочем, о чем это я? – Он воззрился на меня горящим взором. – Все впустую, Людвиг! Она все забрала и сказала, что будет с этими святынями по вечерам за меня молиться! Мне-то что от ее молитв! При этом зад у нее, как у королевы! Все попусту! Теперь она хочет иорданскую воду. Воду из святой реки Иордан! Где, спрашивается, я ее достану? Просто сумасшедшая какая-то! Ты, случайно, не знаешь, где достают иорданскую воду?

– Из водопровода.

– Что?

– Старая бутылка, немного пыли и сургучная пробка. В Бордо двое мелких мошенников держали фирму и продавали таким манером святую воду из Лурда. Бутылка по пять франков шла. Именно так. Из водопровода. Я сам в газете читал. Их даже не посадили. Только посмеялись.

Лахман погрузился в раздумье.

– А это не святотатство?

– Не думаю. Просто мелкое надувательство.

Лахман почесал свой бугристый череп.

– Странно, с тех пор как я продаю все эти медальоны и четки, у меня возникает совсем другое чувство к Богу. Я теперь в некотором роде шизофренический иудокатолик. Так это точно не святотатство? Не осквернение Бога? Нет, правда, ты-то как считаешь?

Я покачал головой.

– Я считаю, у Бога куда больше юмора, чем мы предполагаем. И куда меньше сострадания.

Лахман встал. Он уже принял решение.

– Я ведь даже не продаю эту воду. Значит, это не будет бесчестной сделкой. Я ее просто дарю. Уж это-то наверняка не возбраняется. – Он внезапно ослабил щербатые зубы в вымученной улыбке. – Это же ради любви! А Бог – это любовь! Ладно! Последняя попытка! А какую взять бутылку, как ты думаешь?

– Только не из-под мойковской водки. Ее-то она узнает наверняка.

– Да конечно же, нет. Какую-нибудь совсем простую, анонимную бутылку. Из тех, какие бросают в океан матросы. Бутылочная почта. Запечатанная! Вот в чем весь фокус! Попрошу у Мойкова немного сургуча. У него-то определенно есть – для водки. Может, у него и старая русская монета найдется, с кириллицей, ею и припечатаем. Как будто бутылка из древнего монастыря на Иордане. Как ты думаешь, это ее проймет?

– Нет. Думаю, тебе лучше на несколько недель вообще о ней забыть, это скорее подействует.

Лахман обернулся. Гримаса отчаяния перекосила его лицо. Блекло-голубые глаза таращились, как у снулой пикши.

– Опять ждать! Не могу я ждать! – завопил он. – Я и так живу наперегонки с годами! Мне уже сильно за пятьдесят! Еще год-другой, и я импотент! Что тогда? Одна только бессильная похоть, тоска и никакого удовлетворения! Это же ад! Как ты не понимаешь?! А много ли у меня было в жизни? Только страх, изгнание и нищета. А жизнь одна! – Он достал носовой платок. – И та на три четверти считай, что уже прошла! – прошептал он.

– Не реви! – резко сказал я. – Все равно не поможет. Уж этому, надеюсь, жизнь тебя научила.

– Да не реву я, – ответил он с досадой. – Просто высморкаться хочу. У меня все переживания на нос перекидываются. На глаза ни в какую. Если бы я мог плакать – разве такой я имел бы успех? А так – кому нужен Ромео, у которого от полноты чувств из носа течет? Я же продохнуть не могу. – Он несколько раз оглушительно высморкался. Потом, взяв на прицел Мойкова, заковылял к стойке.

\* \* \*

Я отнес вазу к себе в комнату. Поставил ее на подоконник и стал разглядывать в угасающем вечернем полусвете. Был примерно тот же час, что и в Брюсселе, когда музей закрывался и я выходил на свободу из своей кладовки.

Я медленно поворачивал вазу, изучая ее со всех сторон. В свое время я прочел почти всю, не слишком, кстати, обширную литературу по этой теме и помнил множество иллюстраций. Я знал, что копии распознаются по крохотным деталям орнамента: если на бронзе эпохи Чжоу обнаруживаются мельчайшие декоративные элементы, освоенные ремеслом лишь в эпоху Хань, не говоря уж об эпохах Мин или Тан, то эти мелкие неточности безошибочно изобличают вещь как гораздо более позднюю подделку. Ни одной такой погрешности я на своей бронзе не обнаружил. Похоже, это и вправду была вещь эпохи Чжоу, самого расцвета ее, шестого-пятого столетия до нашей эры.

Я улегся на кровать, поставив бронзу рядом на тумбочку. Со двора, перекрывая унылое побрякивание мусорного бачка, доносились звонкие, истошные крики повара и гортанный бас негра, выносившего отбросы.

Я и сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, была уже ночь. Сперва я вообще не мог понять, где я и что со мной. Потом увидел вазу на тумбочке, и мне на секунду показалось, что я опять в своей музейной конуре. Я сел на кровати, стараясь не дышать громко. Только тут я понял, что спал и что мне снился сон, он еще смутно брезжил в моем сознании, но такой, что вспоминать не хотелось. Я встал и подошел к распахнутому окну. Внизу был двор, там при-

вычно чернели в темноте бачки для мусора. Я свободен, сказал я в темноту и повторил это себе еще и еще раз, тихо и настоятельно, как не однажды твердил за годы изгнания. Я почувствовал, что постепенно успокаиваюсь, и снова взглянул на бронзу, которая и теперь едва заметным поблескиванием продолжала ловить розоватые отсветы огней ночного города. У меня вдруг появилось чувство, что ваза – живая. Ее патины не была мертвой, не казалась наклеенной или искусственно выделанной воздействием кислот на специально заглубленную поверхность; она была выросшей, медленно созревшей в веках, она несла на себе следы вод, которые по ней текли, земных минералов, с которыми она соприкасалась, и даже, судя по лазурному ободку на ножке, следы фосфористых соединений от соседства с мертвецом, длившегося не одно тысячелетие. Кроме того, от нее исходило тихое мерцание – точно так же, как от древних, не знавших полировки экспонатов эпохи Чжоу в музее; мерцание это создавалось пористостью природной патины, которая не поглощала свет, как искусственно обработанная бронза, а придавала поверхности матовый, чуть искристый оттенок, не гладкий, а скорее слегка шершавый, как на грубых старинных шелках. И на ощупь она не казалась холодной.

Я снова сел на кровать и выпустил бронзу из рук. Я смотрел прямо перед собой, в глубине души отлично понимая, что всеми этими соображениями стараюсь заглушить совсем другие воспоминания. Я не хотел воскрешать в памяти то утро в Брюсселе, когда дверь кладовки внезапно резко распахнулась и ко мне ворвалась Сибилла, шепча, что отца взяли, увели на допрос, мне надо бежать, скорей, никто не знает, будут его пытаться или нет и что он под пытками расскажет. Она вытолкала меня за дверь, потом снова окликнула, сунула в карман пригоршню денег.

– Иди, уходи, только медленно, как будто ты посетитель, не беги! – шептала она. – Да хранит тебя Бог! – добавила Сибилла напоследок, вместо того чтобы проклясть меня за то, что я, по всей видимости, навлек на ее отца такую беду. – Иди! Да хранит тебя Бог! – А на мой растерянный, торопливый вопрос, кто же предал ее отца, только прошептала: – Не все ли равно! Иди, пока они сюда с обыском не заявились! – Наспех поцеловав, она вытолкнула меня в коридор и прошептала вслед: – Я сама все приберу! Беги! И не пиши! Никогда! Они все проверяют! Да храни тебя Бог!

Как можно спокойнее, стараясь ничем не выделяться, я спустился по лестнице. Людей вокруг было немного, и никто не обратил на меня внимания. Только перейдя улицу, я оглянулся. То ли мне почудилось, то ли на самом деле в одном из окон белым пятном мелькнуло чье-то лицо.

Я встал и снова подошел к окну. Через двор на меня глядела противоположная стена гостиницы, почти вся темная в этот час. Лишь одно-единственное окно горело напротив. Шторы были не задернуты. Я увидел мужчину, в одних трусах он стоял перед большим зеркалом в позолоченной раме и пудрился. Потом снял трусы и какое-то время красовался перед зеркалом нагишом. На груди у него была татуировка, зато волос не было. Он надел кружевные черные трусики и черный бюстгальтер, после чего не торопясь, со вкусом принялся набивать чашечки бюстгалтера туалетной бумагой. Я бездумно смотрел на все это, не вполне осознавая, что, собственно, происходит. Потом прошел в комнату и зажег верхний свет. Когда вернулся, чтобы задернуть занавески, увидел, что и в окне напротив шторы уже задернуты. Шторы были красного шелка. В других номерах они были кофейно – коричневые, хлопчатобумажные.

Я спустился вниз и поискал глазами Мойкова. Его нигде не было видно. Должно быть, вышел. Решив дождаться его, я устроился в плюшевом будуаре. Спустя некоторое время мне показалось, будто я слышу чей-то плач. Плач был негромкий, и поначалу я не хотел обращать на него внимание, но постепенно он стал действовать мне на нервы. В конце концов я не выдержал и направился в глубь будуара, где возле полки с цветами в горшках, на софе, обнаружил свернувшуюся в комочек, спрятавшуюся ото всех Марию Фиолу.

Я хотел тут же повернуться и уйти. Только этой истеричной особы мне сейчас не хватало! Но Мария уже заметила меня. Она и плакала с широко раскрытыми глазами, от которых, судя по всему, невзирая на слезы, не ускользало ничто.

– Вам чем-нибудь помочь? – спросил я.

Она помотала головой и одарила меня взглядом кошки, которая вот-вот зашипит.

– Хандра? – спросил я.

– Да, – ответила она. – Хандра.

Тоже мне мировая скорбь, подумал я. Это все было хорошо для другого, романтического столетия. Не для нашего, с его пытками, массовыми убийствами и мировыми войнами. А тут, видно, несчастная любовь.

– Вы, должно быть, Мойкова искали? – спросил я.

Она кивнула.

– А где он?

– Понятия не имею. Сам его ищу. Наверно, разносит клиентам свою водку.

– Ну конечно. Когда он нужен, его никогда нет.

– Тяжкое прегрешение, – заметил я. – Ктому же и весьма частое, как ни жаль. Вы хотели выпить с ним водки?

– Я поговорить с ним хотела! Он все понимает! При чем тут водка! А где, кстати, водка?

– Может, за стойкой бутылка припрятана? – предположил я.

Мария помотала головой.

– Шкафчик заперт. Я уже пробовала.

– Шкафчик он, конечно, зря запер. Как русский человек, он должен предчувствовать отчаянья час. Боюсь, правда, что тогда его сменщик, ирландец Феликс О’Брайен, был бы уже пьян в стельку и перепутал бы все ключи.

Девушка встала. Я отшатнулся. На голове у нее бесформенным мешком возвышался шелковый черный тюрбан, из которого дулами револьверов торчали какие-то металлические гильзы.

– Что такое? – спросила она растерянно. – Я что, похожа на чудовище?

– Не совсем. Но как-то уж больно воинственно.

Она потянулась к тюрбану и одним движением распустила его. Моему взгляду открылись пышные волосы, все сплошь увешанные трубочками бигуди, которые своей конструкцией из металла и проволоки сильно напоминали немецкие ручные гранаты.

– Вы про это? – спросила она. – Про прическу? Мне скоро фотографироваться, вот я и завилась.

– Вид у вас такой, будто вы изготовились палить из всех орудий, – сказал я.

Она вдруг рассмеялась.

– Я бы с удовольствием, если б могла.

– Вообще-то у меня в комнате вроде еще оставалась бутылка, – признался я. – Могу принести. Рюмок здесь хватает.

– Какая светлая мысль! Что же она сразу вам в голову не пришла?

В бутылке оставалась еще добрая половина. Мойков отпустил мне ее по себестоимости. В одиночку я не пил, зная, что от этого скорбь на душе только еще безутешнее. Ничего особенного от девицы с пистолетами в волосах я не ждал, но от своей пустой комнатенки ожидал и того меньше. Уходя, я снял со стола бронзу и сунул в шкаф.

Когда я вернулся, меня ждала совершенно другая Мария Фиола. От слез не осталось и следа, личико напудренное и ясное, а волосы избавились от уродливых металлических трубок. Против ожидания, они не рассыпались бесчисленными мелкими локонами, а свободно падали вниз, образуя элегантную волну только вокруг затылка. К тому же они не были крашеными и

жесткими, вроде соломы, как мне сперва показалось. Волосы у нее были светло-каштановые, с чуть красноватым отливом.

– А с какой стати вы пьете водку? – поинтересовалась она. – У вас на родине водку не пьют.

– Я знаю. В Германии пьют пиво и шнапс, это такая разбавленная водка. Но я забыл свою родину и ни пива, ни шнапса не пью. Да и по части водки не такой уж большой любитель. Но вы-то с какой стати водку пьете? Вроде бы в Италии это тоже не самый популярный напиток?

– У меня мама русская. И потом, водка единственный алкогольный напиток, который ничем не пахнет.

– Тоже веская причина, – заметил я.

– Для женщины – очень веская. А что предпочитаете вы?

«Очень содержательная беседа», – пронеслось у меня в голове.

– Да что придется, – ответил я. – Во Франции пил вино, если было.

– Франция! – вздохнула она. – Что немцы с ней сделали!

– Я в этом не участвовал. Я в это время сидел во французском лагере для интернированных лиц.

– Ну разумеется. Как представитель вражеской страны. Как враг.

– Как беженец из Германии. – Я засмеялся. – Вы, кажется, забыли, что Италия и Германия союзники. Они и на Францию вместе напали.

– Это все Муссолини! Ненавижу его!

– Я тоже.

– Я и Гитлера ненавижу!

– Я тоже, – поневоле повторил я. – Выходит, что по части неприятия мы с вами почти союзники.

Девушка глянула на меня с сомнением. Потом заметила:

– Наверное, можно и так посмотреть.

– Иногда это единственная возможность. Кстати, по вашей логике Мойков до недавних пор тоже был в когорте извергов. Немцы заняли его родную деревню и всех жителей сделали тевтонами. Но сейчас это все позади. Русские вернулись, и он теперь снова русский. Наш с вами враг, если по-вашему.

Мария Фиола рассмеялась.

– Интересно у вас получается. Кто же мы на самом деле?

– Люди, – сказал я. – Только большинство, похоже, давным-давно об этом забыли. Люди, которым предстоит умереть, но большинство, похоже, давным-давно забыли и об этом. Меньше всего человек верит в собственную смерть. Еще водки?

– Нет, спасибо. – Она встала и протянула мне руку. – Мне надо идти. Работать.

Я проводил ее глазами. Она уходила совершенно бесшумно, не семеня, не цокая каблучками, не уходила, а плыла, скользила мимо уродливых плюшевых рыдванов, словно их и не было с нею рядом. Должно быть, профессиональный навык манекенщицы, подумал я. Шелковый платок теперь туго облегал ее плечи, сообщая всей фигуре неожиданную гибкость и худобу, но никак не хрупкость – скорее какую-то стальную, почти грозную элегантность.

Я отнес бутылку обратно в номер и вышел на улицу. Резервный портье Феликс О'Брайен стоял у подъезда – пивом от него несло как из бочки.

– Как жизнь, Феликс? – спросил я вместо приветствия.

Он передернул плечами.

– Встал, поел, отбатрачил свое, пошел спать. Какая это жизнь? Вечно одно и то же. Иногда и впрямь не поймешь, чего ради небо коптить.

– Да, – согласился я. – Но ведь коптим же.

## V

– Джесси! – вскричал я. – Возлюбленная моя! Благотельница! Радость-то какая!

Круглая мордашка с румяными щечками, угольками глаз и седым пучком пышной прически ничуть не изменилась. Джесси Штайн стояла в дверях своей маленькой нью-йоркской квартирки, как стояла прежде в дверях просторных берлинских апартаментов и как стаивала потом, уже в изгнании, в дверях самых разных жилищ и прибежищ во Франции, Бельгии, Испании, – неизменно улыбочивая, готовая помочь, словно у нее самой никаких забот нету. У нее и не было своих забот. Ее единственная забота, сущность всего ее «я», состояла в том, чтобы помогать другим.

– Бог ты мой, Людвиг! – запела она. – Когда же мы в последний раз виделись?

Самый расхожий эмигрантский вопрос. Я уже не помнил.

– Наверняка еще до войны, Джесси, – сказал я. – В те счастливые времена, когда за нами гонялась французская полиция. Только вот где? На каком из этапов «страстного пути»? Случайно, не в Лилле?

Джесси покачала головой.

– А не в тридцать девятом в Париже? Перед самой войной?

– Ну конечно же, Джесси! Отель «Интернациональ», теперь вспомнил. Ты угощала нас с Равичем картофельными оладьями, причем пекла их прямо у него в номере. И даже брусничное варенье к оладьям принесла. Это было последнее брусничное варенье в моей жизни. С тех пор я брусники в глаза не видел.

– Это целая трагедия, – заметил Роберт Хирш. – В Америке ты ее тоже не увидишь, здесь брусники нет. Вместо нее тут другие ягоды – loganberries<sup>18</sup>. Но это совсем не то. Впрочем, надеюсь, ты не сбежишь из-за этого обратно в Европу, как актер Эгон Фюрст.

– А ему-то чего не хватало?

– Ни в одном ресторане Нью-Йорка он не мог получить салат из птицы. Он эмигрировал, приехал сюда, но отсутствие салата из птицы приводило его в отчаяние. Так и вернулся в Германию. Вернее, в Вену.

– Это нечестно, Роберт, – вступилась за Фюрста Джесси. – Просто он тосковал по родине, по дому. И потом, он не мог здесь работать. Он не знал языка. А здесь никто не знал его. В Германии-то Фюрста всякий знает.

– Он не еврей, – насупился Хирш. – По родимой Германии только евреи и тоскуют. Парадоксально, но факт.

– Это он про меня, – пояснила Джесси со смехом. – Какой же он злока! Но у меня сегодня день рожденья, и мне на его выпады плевать! Заходите! У нас сегодня яблочный штрудель и крепкий свежий кофе! Совсем как дома. Настоящий кофе, а не та разогретая бурда, которую американцы почему-то называют этим словом.

\* \* \*

Джесси, ангел-хранитель всех эмигрантов. Еще до тридцать третьего, у себя в Берлине, она была второй матерью всем нуждающимся актерам, художникам, литераторам и просто интеллигентам. Наивный, не омраченный и тенью критичности энтузиазм позволял ей каждый день пребывать в состоянии эйфории. Это состояние, однако, находило себе выход не только в том, что она держала салон, где ее толпами осаждали режиссеры и продюсеры, но и в повсе-

---

<sup>18</sup> Loganberry – логанова ягода, гибрид малины с ежевикой.



дневной помощи ближним: она спасала распадающиеся браки, выслушивала исповеди и утешала отчаявшихся, понемножку давала в долг, помогала влюбленным, посредничала между авторами и издателями и благодаря своему упорству добивалась многого: издатели, продюсеры, директора театров хоть и считали ее назойливой, но противостоять ее бескорыстию и столь очевидной доброте были не в силах. Приемная мать многочисленных и непутевых питомцев, она жила сотнями их жизней, своей собственной, по сути, уже не имея. Какое-то время, еще в Берлине, при ней находился некто Тобиас Штайн, неприметный господин, заботившийся о том, чтобы гостям всегда было что есть и пить, но в остальном скромно державшийся в тени. Потом, уже в изгнании, он так же тихо и неприметно умер от воспаления легких в одном из городов великого «страстного пути».

Сама Джесси переносила изгнание так, будто это несчастье постигло не ее, а кого-то другого. Ее нисколько не удручало то, что она лишилась дома и всего состояния. Она продолжала опекать теперь уже беглых и изгнанных художников, встречавшихся ей на пути. Способность Джесси создавать вокруг себя атмосферу домашнего уюта, равно как и ее неколебимая жизнерадостность, были поразительны. Чем больше в Джесси нуждались, тем лучистей она сияла. При помощи пары подушечек и одной спиртовки она исхитрялась превратить замызганный гостиничный номер в некое подобие родины и домашнего очага, где она кормила, поила и обстирывала своих непрактичных, беспомощных, а теперь еще и неведомо куда судьбою заброшенных чад; а когда после смерти господина Тобиаса Штайна вдруг выяснилось, что скромный покойник и после смерти о ней позаботился, завещав ей приличную сумму в долларах в парижском филиале нью-йоркского банка «Таранти Траст», она и ее почти целиком истратила на своих подопечных, оставив себе лишь самую малость на жизнь и еще на билет до Нью-Йорка океанским лайнером «Королева Мэри». Не слишком интересуясь политикой, она, конечно, понятия не имела, что билеты на все заокеанские рейсы уже много месяцев как распроданы, поэтому даже не удивилась, когда билет ей тем не менее достался. Случилось так, что, когда она стояла у кассы, произошло неслыханное: в кассу сдали билет. Кого-то накануне отплытия хватил удар. Поскольку именно Джесси была в очереди первой, она и стала обладательницей билета, за который другие отдали бы целое состояние. Что до Джесси, то она даже не намеревалась оставаться в Америке, она хотела лишь снять со счета вторую часть своих денег, которую дальновидный супруг предусмотрительно оставил ей уже в головном, нью-йоркском отделении «Таранти Траст», и тут же плыть обратно. Она уже третий день была в плавании, когда разразилась война. В итоге Джесси так и пришлось остаться в Нью-Йорке. Обо всем этом мне рассказал Хирш.

Гостиная у Джесси оказалась небольшая, но совершенно в ее стиле. Повсюду подушечки, множество стульев, шезлонг и уйма фотографий на стенах, почти все с велеречивыми посвящениями хозяйке. Часть из них в черной траурной окантовке.

– Список Джессиных утрат, – сказала изящная дама, сидевшая под фотографиями. – Там вон Газенклевер. – Она указала на один из фотоснимков в траурной рамке.

Газенклевера я хорошо помнил. В тридцать девятом его, как и всех эмигрантов, кого удалось сцапать, французы бросили в лагерь для интернированных. Когда немцы были всего в двух километрах от этого лагеря, Газенклевер ночью покончил с собой. Он не хотел попадаться в руки соотечественников, которые определили бы его уже в свой концлагерь и там замучили бы до смерти. Однако, против всех ожиданий, немцы в лагерь так и не вошли. В последний момент частям было приказано совершить обходной маневр, и гестаповцы второпях просто проскочили лагерь. Но Газенклевер был уже мертв.

Я заметил, что Хирш рядом со мной тоже смотрит на портрет Газенклевера.

– Я не знал, где он, – сказал он. – Я хотел его спасти. Но в то время повсюду был такой кавардак, что труднее было найти человека, чем его вызволить. Бюрократия в сочетании с

французской безалаберностью – страшная вещь. Они даже не хотели никому зла, но те, кто угодил в эти пути, были обречены.

Чуть в стороне от списка утрат я заметил фото Эгона Фюрста, без черной рамки, но с косой траурной полосой в нижнем углу.

– А это как понимать? – спросил я у изящной дамы. – Или траурная лента означает, что его убили в Германии?

Дама покачала головой:

– Тогда он был бы в рамке. А так Джесси просто скорбит о нем. Поэтому у него всего лишь полоска. И висит он поодаль. Все настоящие покойники висят вон где, рядом с Газенклевером. Их там уже много.

Похоже, в мире воспоминаний у Джесси был большой порядок. Даже смерть можно окружить мещанским уютом, думал я, не отрывая взгляда от пестрых подушечек на шезлонге под фотографиями. Иные из актеров были в костюмах персонажей, с успехом сыгранных когда-то в Германии или в Вене. Должно быть, Джесси привезла эти фотографии с собой. Теперь, в нафталиновом бархате, в бутафорских доспехах, кто с мечом, кто при короне, они счастливо и победительно улыбались из своих траурных рамок.

На другой стене гостиной висели фотографии тех друзей Джесси, которые пока что были живы. И здесь большинство составляли актеры и певцы. Джесси обожала знаменитостей. Среди них нашлось место и паре-тройке писателей и врачей. Трудно сказать, какой из этих паноптикумов производил более загробное впечатление – тех, что уже умерли, или тех, что еще живы и не ведают своей смерти, но уже как бы чают ее: в потускневшем ореоле былых триумфов – в облачении ли вагнеровского героя с бычьими рогами на голове, в костюме ли Дон-Жуана или Вильгельма Телля, – они грустно глядели со стены, став с годами куда скромней и безнадежно состарившись для ролей, в которых запечатлены на фото.

– Принц Гомбургский! – продребезжал скрюченный человечек у меня за спиной. – Это когда-то был я! А теперь?

Я оглянулся. Потом снова посмотрел на фото.

– Это вы?

– Это был я, – с горечью уточнил старообразный человечек. – Пятнадцать лет назад! Мюнхен! Театр «Каммер-шпиле»! В газетах писали, что такого Принца Гомбургского, как я, десять лет не было. Мне пророчили блестящее будущее. Будущее! Звучит-то как! Будущее! – Он отвесил судорожный поклон. – Позвольте представиться: Грегор Хаас, в прошлом – актер «Каммершпиле».

Я пробормотал свое имя. Хаас все еще смотрел на свое неузнаваемое фото.

– Принц Гомбургский! Разве тут можно меня узнать? Конечно, нет! У меня тогда еще не было этих жутких морщин, зато были все волосы! Только за весом надо было следить. Я питал слабость к сладкому. Яблочный штрудель со взбитыми сливками. А сегодня? – Человечек распахнул пиджак, висевший на нем мешком, – под ним обнаружился жалкий, впалый, живот. – Я говорю Дженни: сожги ты все эти фотографии! Так нет же, она дорожит ими, как родными детьми. Это у нее называется «Клуб Джесси»! Вы это знали?

Я кивнул. Так именовались подопечные Джесси уже во Франции.

– Вы тоже в нем состоите? – спросил Хаас.

– Время от времени. Да и кто не состоит?

– Она мне тут работу устроила. Немецким переводчиком на фирме, которая ведет обширную переписку со Швейцарией. – Хаас озабоченно оглянулся. – Не знаю, надолго ли. Эти швейцарские фирмы все чаще норовят сами писать по-английски. Если и дальше так пойдет, мои услуги вскоре не понадобятся. – Он глянул на меня исподлобья. – От одного страха избавишься, так другой уже тут как тут. Вам это знакомо?

– Более или менее. Но к этому привыкаешь.

– Кто привыкает, а кто и нет, – неожиданно резко возразил Хаас. – И однажды ночью лезет в петлю.

Он сопровождал свои слова каким-то неопределенным движением руки и снова поклонился.

– До свидания, – сказал он.

Только тут я осознал, что мы говорили по-немецки. Почти все вокруг говорили по-немецки. Я вспомнил, что Джесси еще во Франции придавала этому особое значение. Она считала, что когда эмигранты говорят друг с другом не на родном языке, это не просто смешно, а чуть ли не предательство. Она, несомненно, принадлежала к той школе эмигрантов, в восприятии которых нацисты были чем-то вроде племени марсиан, вероломно захвативших их беззащитную отчизну; в отличие от другой школы, которая утверждала, что в каждом немце прячется нацист. Была также третья школа, которая шла еще дальше и заявляла, что нацист прячется вообще в каждом человеке, просто это состояние по-разному называется. Эта школа, в свою очередь, делилась на два течения – философское и воинствующе-практическое. К последнему принадлежал Роберт Хирш.

– Ну что, Грегор Хаас поведал тебе свою историю? – спросил он, подходя.

– Да. Он в отчаянье из-за того, что Джесси вывесила у себя его фотографию. Он бы предпочел все прошлое забыть.

Хирш рассмеялся.

– Да его комнатенка сплошь обклеена фотографиями времен его недолгой славы. Он скорее умрет, чем позабудет о своих несчастьях. Это же прирожденный актер. Только теперь он играет не Принца Гомбургского на сцене, а горемыку Иова в реальной жизни.

– А что с Эгоном Фюрстом? – спросил я. – На самом-то деле почему он уехал?

– Ему не давался английский. И кроме того, у него просто в голове не укладывалось, как это его никто здесь не знает. С актерами такое бывает. В Германии он же был знаменитость. И с первых шагов, начиная с паспортного контроля и с таможни, никак не мог привыкнуть, что о нем никто слыхом не слыхал, что свою прославленную фамилию ему приходится диктовать чуть ли не по буквам. Его это просто убивало. Сам знаешь – что для одного пустяк, для другого трагедия. А уж когда на киностудии ему, как какому-нибудь безвестному новичку, предложили пробные съемки, это был конец. После такого позора он твердил только одно – домой. Вероятно, еще жив. Иначе Джесси наверняка знала бы. А вот играет он там, в Германии, или нет – неизвестно.

К нам подпорхнула Джесси.

– Кофе готов! – радостно объявила она. – И яблочный штрудель тоже! Прошу к столу, дети мои!

Я обнял ее за плечи и поцеловал.

– Ты опять спасла мне жизнь, Джесси! Ведь это ты сподвигла Танненбаума прийти мне на выручку.

– Ерунда! – Она высвободилась из моих объятий. – Люди не так-то быстро погибают. А уж ты и подавно!

– Ты уберегла меня от вынужденного круиза на одном из современных «летучих голландцев». Из порта в порт, но без права пришвартоваться.

– Они что, правда есть? – спросила она.

– Правда, – ответил я. – Битком набитые эмигрантами, в основном евреями. И детьми тоже.

На кругленькое личико Джесси набежала тень.

– Ну почему они не оставят нас в покое? – простонала она. – Нас ведь так мало осталось.

– Как раз поэтому, – ответил Хирш. – Нас не опасно гнать на бойню. Нам не опасно отказать в помощи. Мы самые терпеливые жертвы на свете.

Джесси повернулась к нему.

– Роберт, – сказала она. – У меня сегодня день рождения. И я старая женщина. Дай нам сегодня вечером насладиться самообманом. Я сама испекла яблочный штрудель. И кофе сама сделала. А вон и наши сестрички, Эрика и Беатрис. Они помогали мне готовить, а сейчас потчуют гостей. Так что сделай одолжение – пей, ешь до отвала, но прекрати каркать. Хоть бы раз обошелся без политических проповедей!

Я увидел изящную женщину, что прежде сидела под фотографиями; теперь она приближалась к нам с кофейником. За ней следовала другая, они были похожи как две капли воды. Женщины и одеты были одинаково.

– Близняшки! – гордо пояснила Джесси, будто она сама была автором этого чуда природы. – Настоящие! И прехорошенькие! Когда-нибудь они прославятся в кино!

Близняшки, пританцовывая, обхаживали гостей. Это были крашенные блондинки, длинноногие и темноглазые.

– Ну как их различить! – произнес чей-то голос совсем рядом. – При этом одна, говорят, жуткая потаскушка, а вторая оплот добродетели.

– Но имена-то у них разные, – заметил я.

– В том-то и штука! – оживился обладатель голоса. – Эти стервы меняются именами! Выдают себя друг за дружку. Это у них игра такая. Только ежели кто влюблен, то для него это уже не игра, а дьявольская забава.

Я с интересом поднял глаза. Влюбиться в близнецов – это было что-то новенькое.

– Вы в одну влюблены или в обеих сразу? – полюбопытствовал я.

– Меня зовут Лео Бах, – представился мужчина. – Если честно, то в потаскушку, – охотно объяснил он. – Только не знаю, в которую из них.

– Но это же довольно просто выяснить.

– Я тоже так полагал. Как раз сегодня, когда у обеих руки заняты. Потихоньку ущипнул одну за зад – она мне в отместку пролила кофе на мой синий костюм. Тогда я то же самое с другой проделал – так она мне тоже кофе на костюм выплеснула! И теперь уже я не знаю – то ли я два раза одну и ту же ущипнул, то ли все-таки разных. Эти близняшки – они такие шустрые. Носятся по квартире – не уследишь. Вот вы лично как считаете? Меня что с толку сбивает: оба раза одинаковая реакция – кофе на костюм. Пожалуй, это скорее говорит о том, что я щипал одну и ту же, вам не кажется?

– А вы не хотите попытать счастья еще разок? Но так, чтобы не упускать обеих из виду? Лео Бах затряс головой.

– У меня и так уже весь костюм мокрый. А он у меня один.

– Но, по-моему, на синем костюме пятна от кофе не остаются.

– Не в пятнах дело. В пиджаке, во внутреннем кармане, все мои деньги. Третьей чашки кофе пиджак может не выдержать, деньги промокнут и сделаются непригодными. Этого я себе позволить не могу.

Одна из близняшек внезапно оказалась возле нас с кофе и пирожными. Лео Бах невольно отпрянул и лишь потом жадно потянулся за пирожным. В это же время ко мне с чашкой кофе подошла вторая. В другой руке у нее был кофейник. Бах прекратил жевать и не сводил с нее глаз, пока она не отошла.

– Ну вертихвостки! – пробурчал он. – Святая невинность, понимаешь! Даже по голосу их не различить!

– Тяжело вам, – посочувствовал я. – Но, может, им обеим не нравится, когда их щиплют за зад? В определенных кругах это считается несколько примитивным способом заигрывания.

Бах только отмахнулся.

– О чем вы говорите! Какие там «определенные круги»! Мы эмигранты! Разнесчастные твари!

Вместе с Хиршем мы вернулись в его магазин. За окнами в потоках света, шума и людской толчеи пробуждалась ночная жизнь большого города. Свет мы зажигать не стали – его было достаточно и так. Невидимая плоскость оконного стекла отгораживала нас от шума. Мы сидели в магазине, как в пещере, и мелькания огней с улицы двойными контурами отражались в огромных, округлых и выпуклых зрачках телевизионных экранов. Ни один из телевизоров не был включен, они молчаливо сгрудились вокруг нас, и казалось, мы перенеслись в безмолвный мир робототехники будущего, где все, что там, за окном, вертелось в агрессивной, потной, пугливой и мучительной человеческой кутерьме, а здесь уступило место безукоризненному и бесчувственному совершенству технических решений.

– Даже странно, до чего здесь, в Америке, все по-другому, – сказал Хирш. – Ты не находишь?

Я покачал головой. Он встал и принес бутылку перно и два небольших стакана. Потом подошел к холодильнику и достал оттуда ванночку со льдом. На секунду свет из холодильника ярко выхватил из темноты его узкое лицо с пышной светло-рыжей шевелюрой. Хирш по-прежнему смахивал скорее на облезлого провинциального лирика, чем на маккавейского ангела мщения.

– По-другому, чем во время бегства, – пояснил он. – Чем во Франции, Голландии, Бельгии, Испании, Португалии. Там клочок привычного домашнего быта казался заветной, почти недостижимой мечтой. Комната с постелью, теплая печь, вечер в кругу друзей. Или Джесси, как ангел благовещения, с кульком картофельных оладий и кофейником настоящего кофе в руках. То были просветы, блаженные оазисы отдохновения на зловещем фоне постоянной угрозы. А теперь? Во что это все выродилось? В благостные мещанские посиделки за кофейком. В тошный обывательский уют. Ты так не считаешь?

– Нет, – не согласился я. – Просто угроза стала меньше, вот и все. И сразу полезло в глаза все обыкновенное. Лично я – за уют и безопасность мещанских посиделок. Когда люди по крайней мере уверены, что завтра могут увидеться снова. В Европе мы этой уверенности не знали никогда. – Я рассмеялся. – Или ты предпочтешь чувство опасности, лишь бы придать мещанскому уюту ореол романтики? Как врачи, которые при эпидемиях холеры готовы выкачать куда больше героизма, чем при обычном гриппе?

– Да нет, конечно! Просто меня злит вся эта атмосфера. Смесь покорности, бессильного гнева, протеста, который ни к чему не ведет и тут же угасает, обиды и всенепременного висельного юмора. Вместо того чтобы негодовать – одно ерничанье и беззубые эмигрантские шуточки!

Я посмотрел на Хирша внимательно.

– А что им еще делать? – спросил я наконец. – Конечно, может, эмигранты и не оправдывают твоих ожиданий, но они же не по своей воле стали искателями приключений. Да, они обрели здесь какую-то безопасность, но они все еще люди второго сорта. Их только терпят; епему aliens – вот ведь как их тут называют. Вражеские чужестранцы. И они теперь на всю жизнь останутся вражескими чужестранцами, даже если вернуться в Германию. Даже в Германии.

– А ты думаешь, они вернуться?

– Не все, но некоторые. Если не умрут раньше. Чтобы жить без корней, надо иметь сильное сердце. А несчастье редко выступает в геройской тоге. Они живут чужой, заемной жизнью, без родины, и за душой у них, Роберт, ничего, кроме повседневного обывательского мужества, а вместо будущего – одни только прекраснотушные иллюзии. – Я оставил свой стакан. – Черт

возьми, я уже начинаю произносить проповеди. Это все от анисовки. Или от темноты. У тебя ничего другого выпить нету?

– Коньяк, – откликнулся Роберт. – «Курвуазье».

– Да это же дар Божий!

Он встал и пошел за бутылкой. Я смотрел на его силуэт на фоне освещенного улицей окна. Бог ты мой, думал я, неужто его и вправду гложет тоска по всей этой недавней жизни, полной горечи, мытарств и треволнений? Я давно его не видел, и я знал, как быстро это случается. Память – лучший фальсификатор на свете; все, через что человеку случилось пройти, она с легкостью превращает в увлекательные приключения; иначе не начинались бы все новые и новые войны. К тому же Роберт Хирш вел совсем другую жизнь, чем остальные эмигранты: жизнь маккавея, мстителя и спасителя в беде, – жизнью жертвы он не жил. Неужто лик смерти совсем исчез с его горизонта в тумане буден, в дымке безопасности? – думал я. Думал, признаюсь, не без зависти, ибо на моем проклятом небосклоне этот лик всходил каждую ночь, так что мне частенько приходилось зажигать свет, когда очередной кошмар вырывал меня из сна.

Хирш откупорил коньяк. Благоуханный аромат тотчас же разлился по комнате. Это был добрый старый коньяк еще довоенных времен.

– Помнишь, где мы пили его в первый раз? – спросил Хирш.

Я кивнул.

– В Лане. Когда в курятнике прятались. Мы тогда еще решили составить «Ланский катехизис». Какая-то призрачная была ночь, осененная страхом, коньяком и куриным квохтаньем. А бутылку ты тогда у коллаборациониста-виноторговца конфисковал.

– Украл, – уточнил Хирш. – Но в ту пору мы употребляли только возвышенные выражения. Как и нацисты.

«Ланский катехизис» – это было собрание практических советов беглецу, своеобразный кладезь опыта, накопленного эмигрантами на этапах «страстного пути». Где бы ни встречались беженцы, они неизменно обменивались друг с другом сведениями о новых ухищрениях полиции и новых способах от них защититься. В конце концов мы с Хиршем начали все эти вещи записывать, создавая нечто вроде пособия для начинающих. Там были адреса, где беженцу могли помочь, и другие, которых надо было сторониться; перечни легких или особо опасных пропускных пунктов; фамилии доброжелательных или же особо злокозненных пограничных и таможенных офицеров; укромные места для передачи друг другу почты; музеи и церкви, не проверяемые полицией; рекомендации, где и как легче провести жандармов. Сюда же потом вошли имена надежных связных, которые знали, как уйти от гестапо, а еще, постепенно, – перлы эмигрантской житейской мудрости, философские сентенции гонимых и горький юмор выживания.

Кто-то постучал в окно. С улицы нас пристально разглядывал лысый мужчина. Потом постучал снова, еще сильнее. Тогда Хирш встал и открыл дверь.

– Мы не жулики, – объяснил он. – Мы тут живем.

– Вот как? Тогда с какой стати вы сидите здесь после закрытия магазина, да еще в темноте?

– Мы и не гомосексуалисты. Мы строим планы на будущее. Будущее наше мрачно, вот мы и сидим во мраке.

– Чего-чего? – переспросил мужчина.

– Можете вызывать полицию, если вы нам не верите, – отрезал Хирш и захлопнул дверь перед носом у лысого.

Он вернулся к столу.

– Америка – страна соглашательства и единомыслия, – сказал он. – Каждый смотрит на соседа и все делает точно так же и в одно и то же время. Всякий инакий подозрителен. –

Он отставил свой стаканчик с абсентом и тоже принес себе рюмку поменьше. – Забудь все, что я тебе сегодня говорил, Людвиг. Сам знаешь, бывают такие моменты. – Он усмехнулся. – «Ланский катехизис», параграф двенадцатый: «Эмоции, равно как и заботы, омрачают ясную голову. Все еще сто раз переменится».

Я кивнул.

– Ты не подумывал пойти здесь в армию? – спросил я.

Хирш отпил глоток коньяка, потом ответил:

– Подумывал. Они меня не хотят. «Опять немец, еще один немец» – вот что они мне сказали. Может, они и правы. Им лучше знать. Предложили на Тихий океан, воевать с японцами. Но тут я сам не согласился. Я ведь не наемник, чтобы за деньги в людей стрелять. Может, они и правы. А вот ты стал бы в немцев стрелять, если б они тебя в армию взяли?

– В некоторых стал бы.

– В некоторых, которых ты лично знаешь, – наседали он. – А в других? Во всех остальных?

Я задумался.

– Это чертовски трудный вопрос, – сказал я наконец.

Хирш горько усмехнулся.

– На который нет ответа, верно? Как нет ответа для нас, граждан мира, и на многие другие. Мы и не там, и не здесь. И в покинутую отчизну нам нельзя, и новая страна нас не принимает. И генералы, которые нам не верят, пожалуй, даже правы.

Я не стал возражать Роберту. Да и что возразишь? Мы попали в это положение, но не мы его создали. Здесь все было решено до нас. И большинство с этим положением смирилось. Только мятежное сердце Роберта Хирша не желало смириться.

– В Иностранный легион берут немцев, – сказал я наконец. – И даже гражданство обещают. После войны.

– Иностранный легион! – Хирш презрительно хмыкнул. – И загонят в Африку, дороги строить.

Сидя за столом, мы помолчали. Хирш зажег новую сигарету.

– Вот странно, – сказал он. – Не курится как-то в темноте. Вкуса совсем не чувствуешь. Хорошо бы в темноте и боли не чувствовать.

– А чувствуешь вдвойне. Отчего так? Или это потому, что в темноте сильнее боишься?

– Да нет, сильнее чувствуешь одиночество. Призраки прошлого одолевают.

Я вдруг перестал его слышать. За окном внезапно мелькнуло лицо, при виде которого у меня чуть не разорвалось сердце. Лицо появилось неожиданно и застигло меня врасплох, оно, можно сказать, меня сразило. Еще миг – и я бы вскочил и бросился за ним вдогонку, но я все-таки усидел и в следующую секунду уже знал, что мне почудилось. Не могло не почудиться. Этого лица, этой оглядки через плечо, этой улыбки в бликах уличных фонарей уже не было на свете. Это лицо уже не улыбнется. В последний раз, когда я его видел, оно было холодным и застывшим, а на глазах сидели мухи.

– Что ты сказал? – спросил я через силу.

Это все обман, думал я. Какой-то морок, надо немедленно проснуться. На миг темное пространство с безмолвно поблескивающими лупоглазыми зрачками экранов показалось настолько оторванным от остального мира, настолько ирреальным, что почудилось, оно поглотит сейчас и жизнь за окном, и меня, и вообще все вокруг.

– Можно, я зажгу свет? – спросил я.

– Конечно.

Холодный неоновый свет залил помещение, заставив нас подслеповато моргать и таращиться, будто застигнутых за постыдным занятием мальчишек.

– Так о чем ты? – переспросил я.

Хирш взглянул на меня с недоумением.

– Я говорю, не забивай себе голову мыслями о Танненбауме. Он разумный человек и знает, что тебе нужно время, чтобы обжиться. Ты не обязан специально к нему идти и благодарить. Его жена от случая к случаю дает приемы для голодающих эмигрантов. Скоро у нее как раз очередной прием. Она тебя пригласит. Мы с тобой пойдем туда вместе. Тебе ведь тоже так лучше?

– Гораздо лучше.

Я встал.

– Что у тебя с работой? – спросил Хирш. – Нашел что-нибудь?

– Нет пока. Но кое-что есть на примете. Не хочу быть обузой Танненбауму.

– Об этом вообще не думай. А жить всегда можешь у меня, и столоваться тоже.

Я покачал головой.

– Нет, Роберт, я хочу все осилить сам. Все, понимаешь, все! «Ланский катехизис», параграф седьмой: «Помощь приходит, только когда она не нужна».

Я не стал возвращаться в гостиницу. Решил бесцельно побродить по городу, как бродил почти каждый вечер. Я смотрел на каскады света и думал о Рут, которой больше нет. Мы случайно встретились и сразу остались вместе. Это случилось в горькую для нас обоих пору. Никого, кроме друг друга, у нас не было. Но однажды меня арестовали, на две недели бросили в тюрьму, а потом выдворили через швейцарскую границу. С превеликим трудом я сумел вернуться. Но когда добрался до Парижа, Рут была уже мертва. Я нашел ее в ее комнате, посреди жужжащего роя толстых, жирно поблескивающих мух; судя по всему, она уже несколько дней так лежала. С тех пор не могу избавиться от чувства, что я ее бросил, бросил в беде. У нее никого, кроме меня, не было, а я дал себя арестовать по собственной дурости. Рут покончила с собой. Как и многие эмигранты, она всегда имела при себе яд – на случай, если ее схватит гестапо. Но она им даже не воспользовалась. Двух стеклянных трубочек со снотворным для ее усталого, надломленного отчаянием сердца оказалось достаточно.

Сам не знаю почему, я вдруг остановился, уставившись на витрину газетного киоска. Аршинные заголовки кричали со всех передовиц: «Покушение на Гилера!», «Гитлер убит взрывом бомбы!»

Вокруг киоска сгрудились люди. Я протиснулся к прилавку и купил газету. Она была еще чуть влажная от типографской краски. Я вдруг заметил, что руки у меня дрожат. Нашел какую-то подворотню и стал читать. Меня вдруг охватило яростное раздражение из-за того, что я читаю так медленно. Да и понимаю не все! Я скомкал газету, потом снова ее разгладил и остановил такси. Решил поехать к Хиршу.

Хирша дома не было. Я долго стучал в его дверь. Она была заперта. В магазине его тоже не оказалось. Вероятно, вышел перед самым моим приездом. Я побрел к «Дарам моря». Мертвые рыбины поблескивали в витрине, распятые омары зябко поеживались на ледовой крошке, официанты с тяжеленными лоханями ухи над головой лавировали между столиков, ресторан был забит, но Хирша и здесь не оказалось. Я медленно двинулся дальше. В отель возвращаться не хотелось – я боялся напороться на Лахмана. Не тянуло меня и в плюшевый будуар – не исключено, что его уже оккупировала Мария Фиола. Мойкова на месте не было, это я знал.

Я брел по Пятой авеню. Ее простор, сияние ее огней – все это подействовало на меня успокаивающе. Казалось, от освещенных домов исходит мелкая электрическая дрожь, которая заставляет вибрировать весь воздух. Я прямо чувствовал эту дрожь у себя на лице и ладонях. Возле отеля «Савой-Плаза» я купил еще один экстренный выпуск – его продавал горластый карлик с тонюсенькими усиками. Сообщалось в нем примерно то же самое, что и в первой газете. В штаб-квартире Гитлера взорвана бомба. Подложил бомбу кто-то из офицеров. Еще не известно, действительно ли Гитлер убит, но тяжело ранен почти наверняка. Это был офицер-



ский путч. Армейские части в Берлине вышли из повиновения, к ним присоединились некоторые генералы. Возможно, это конец.

Я вплотную подошел к ярко освещенной витрине, чтобы разобрать и набранное мелким шрифтом. Казалось, вокруг меня струятся токи магнитной бури. Из зоопарка доносилось рыканье львов. Я тупо глазел на витрину, перед которой стоял, и ничего не видел. Лишь некоторое время спустя я сообразил, что стою перед знаменитым ювелирным магазином «Ван Клиф и Арпелз». Две диадемы двух умерших королей холодно и безучастно покоились там в черной бархатной нише в обрамлении рубинов, изумрудов и бриллиантов, как бы вобрав в себя всю неприступность загадочного мира кристаллов и все его совершенство, возникшее задолго до теплой суеты жизни и существующее с тех пор вне смерти, вне убийства, по своим, непостижимым законам неуклонного и бесшумного роста. Я вновь ощутил газету у себя в руке, услышал ее шуршание, увидел жирные заголовки – и опять поднял взгляд на Пятую авеню, окунул его в светозарную перспективу этой удивительной улицы, в ее изобилие и блеск, в золотистое мерцание витрин, в неустойчивый взлет этажей, бахвалящихся своей обольстительной порочностью и вавилонской вседозволенностью. Нет, ничто здесь не изменилось за те минуты, пока в душе у меня бушевала буря. Шуршание газеты в моей руке – вот и все, что напоминало здесь о войне, призрачной войне без смертоубийств и разрушений, беззвучный отголосок новой битвы на Католаунских полях<sup>19</sup>, долетевший сюда, на другой берег океана, на этот невосприимчивый континент, отзвук не видимой отсюда войны, который только и был слышен, что в шуршании газет на прилавках ночных киосков.

– А когда будут утренние выпуски? – спросил я.

– Часа через два. «Таймс» и «Трибюн».

Я возобновил свое беспокойное странствие вдоль Пятой авеню – мимо Центрального парка до отеля «Шерри-Незерланд», оттуда до музея «Метрополитен» и обратно до отеля «Пьер». Стояла неопишуемая ночь, бездонная и тихая, теплая, облаканная поздним июлем, что завалил все цветочные магазины розами, гвоздиками и орхидеями и переполнил все киоски в боковых улочках буйным кипением сирени, осененная высокосветлым небом над Центральным парком, что легло на пышные кроны лип и магнолий, и покоем, нарушаемым лишь дробным цокотом конного экипажа для полуночных влюбленных, меланхолическим порыванием львов да рокотом редких автомобилей, чертивших прожекторами фар световые каракули в темных провалах парка.

Я вошел в парк и двинулся к небольшому пруду. Посеребренный, он тихо мерцал в свете незримой луны. Я сел на скамью. Никак не получалось спокойно все обдумать. Сколько я ни пытался, тут же подступало прошлое – все шло кругом, путалось, накатывало, глазело из мертвых глазниц, потом опять шныряло в сумрак деревьев, шуршало там, неслышными шагами подкрадываясь снова, сквозь пепел и скорбь заговаривало со мною едва слышными голосами былого, шептало что-то, то ли увещевая, то ли желая предостеречь, внезапно приближая события и лица из путаных лабиринтов лет, так что я, уже почти поверив в галлюцинации, и вправду думал, что вижу их в этом призрачном сплетении вины и ответственности, промахов и упущений, бессилия, горечи и неистовой жажды мести. В эту теплую июльскую ночь, полную цветения и произрастания, насыщенную затхлой влагой черного, недвижимого пруда, на глади которого полусонным вспугнутым криканьем изредка перекликались друг с другом утки, все во мне вдруг разверзлось снова, пройдя перед внутренним оком траурным шествием боли, вины и неисполненных обещаний. Я встал; неумоготу было сидеть вот так, в полной неподвижности, чувствуя, как совсем рядом на бреющем полете проносятся летучие мыши, обдавая лицо

---

<sup>19</sup> Католаунские поля – равнина в Северо-Восточной Франции, где в июне 451 г. войска Западной Римской империи в союзе с франками, вестготами, бургундами, аланами и др. разгромили гуннов и их союзников во главе с Атилой.

холодком могильного тлена. Окутанный обрывками воспоминаний, будто дырявым плащом, я побрел дальше по тропинкам, убегавшим в глубь парка, побрел, сам не зная куда. Очутившись на круглой песчаной площадке, я остановился. В центре ее, в пятне лунного света, недвижимым и пестрым хороводом теней затаилась небольшая карусель. Она была завешена парусиной, но не полностью и наспех; видны были лошадки в золотистых сбруях с развевающимися гривами, и гондолы, и слоны, и медведи. Все они замерли на бегу, их галоп окаменел, и теперь они пребывали в безмолвной неподвижности, заколдованные, как в сказке. Я долго смотрел на эту застывшую жизнь, столь странно безутешную в своем оцепенении – наверное, как раз оттого, что замышлялась она как апофеоз беззаботного веселья. Зрелище это о многом мне напомнило.

Внезапно послышались шаги. Откуда-то сзади, из темноты, вышли двое полицейских. Они оказались рядом, прежде чем я успел сообразить, стоит мне убегать или нет. Так что я остался.

– Что вы тут делаете? – спросил один из полицейских, тот, что повыше ростом.

– Гуляю, – ответил я.

– В парке? Ночью? Чего ради?

Я не знал, что на это ответить.

– Документы? – спросил второй.

Паспорт Зоммера был при мне. Светя себе фонариком, они принялись его изучать.

– Значит, вы не американец? – спросил второй.

– Нет.

– Где остановились?

– Гостиница «Мираж».

– Вы ведь недавно в Нью-Йорке? – спросил длинный.

– Недавно.

Тот, что поменьше, продолжал изучать мой паспорт. Я почувствовал неприятный холодок в желудке, уже много лет навещающий меня при встречах с полицией. Я смотрел на карусель, на лакированного белого скакуна, что в вечном протесте вскинулся на дыбы из своей постылой упряжки, потом перевел глаза на звездное небо и стал думать о том, до чего будет забавно, если меня сейчас задержат как немецкого шпиона. Коротышка все еще листал мой паспорт.

– Ну скоро ты, Джим? – спросил длинный. – Он вроде не похож на блатного.

Джим не отвечал. Длинный стал проявлять нетерпение.

– Да пойдем, Джим. – Затем он обратился ко мне: – Вы что, не знаете, что в такое время здесь опасно разгуливать в одиночку?

Я покачал головой. Должно быть, у меня другие представления об опасности. Я снова стал разглядывать карусель.

– Тут по ночам столько всякого сброду шныряет, – начал просвещать меня длинный. – Воры, грабители, прочая мразь. Что ни час, обязательно что-нибудь случается. Или вам охота, чтобы вас изувечили?

Он засмеялся. Я не ответил. Я не сводил глаз со своего паспорта, который все еще оставался в руках у второго полицейского. Паспорт – это все, что у меня было, без него я даже в Европу вернуться не смогу.

– Пройдемте, – сказал наконец Джим. Паспорт он мне не вернул.

Я последовал за ними. Мы дошли до патрульной машины, что стояла на обочине.

– Садитесь, – приказал Джим.

Я влез в машину и устроился на заднем сиденье. Мыслей не было никаких.

Уже вскоре мы выехали из парка на Пятьдесят девятую улицу. Машина остановилась. Джим обернулся и протянул мне паспорт.

– Ну вот, приятель, – сказал он. – Здесь можете выходить. А то в парке вас, чего доброго, еще кто-нибудь обидит ненароком.

Оба полицейских рассмеялись.

– Мы же человеколюбцы, – заявил длинный. – Еще какие человеколюбцы, приятель! В пределах разумного, конечно!

Я вдруг почувствовал, что весь затылок у меня взмок от пота, и рассеянно кивнул.

– Утренние газеты уже вышли? – спросил я.

– Вышли. Жив ублюдок. Ублюдкам всегда везет.

Я побрел вдоль по улице, прошел мимо «Сент-Морица», единственного виденного мной в Нью-Йорке отеля с небольшим палисадником и столиками, где можно было спокойно посидеть с газетой. В отличие от Парижа, Вены да и любого городка в Европе, где в кафе можно почитать газету, в Нью-Йорке таких кафе не было. Видимо, здесь ни у кого не хватало времени на такую ерунду. Я подошел к газетному киоску. Почему-то вдруг я ужасно устал. Проглядел первую страницу. Гитлер не убит. В остальном сообщения противоречили друг другу. Неясно, то ли это мятеж военных, то ли нет. По слухам, Берлин все еще в руках восставших частей. Но предводители уже арестованы верными Гитлеру генералами. Сам Гитлер жив. И не в руках мятежников. Наоборот, уже успел отдать приказ всех мятежников вешать.

– Когда будут следующие газеты? – спросил я.

– Утром. Дневные выпуски. Это уже утренние.

Я в растерянности смотрел на продавца.

– Радио, – сказал он. – Радио включите. Там по всем программам всю ночь одни последние известия.

– Верно! – обрадовался я.

У меня-то радио не было. Но у Мойкова есть. Может, он уже вернулся. Я схватил такси и поехал в гостиницу. Я слишком обессилел, чтобы идти пешком. К тому же хотелось добраться как можно скорее. Меня охватила странная апатия, как будто я слышу и воспринимаю окружающее сквозь слой ваты, хотя внутри все дрожало от нетерпения.

Мойков был на месте. Никуда не ушел.

– К тебе Роберт Хирш приходил, – сообщил он мне.

– Когда?

– Часа два назад.

Как раз в то время, когда я стучался к нему в квартиру.

– Он что-нибудь передал? – спросил я.

Мойков кивнул на небольшой, поблескивающий хромированными ручками радиоприемник.

– Принес тебе вот это. «Зенит», между прочим. Очень хороший аппарат. Сказал, что тебе он сегодня наверняка понадобится.

Я кивнул.

– Больше он ничего не сказал?

– Да он только полчаса как ушел. Был взволнован, но без всякого оптимизма. Немцам, говорит, не удавалась еще ни одна революция. Им даже мятеж не по зубам. Их бог – это приказ и послушание, а уж никак не совесть. Он считает, покушение – это путч военных, и устроили они его не потому, что нацисты изверги и убийцы, для которых право – просто кровавый фарс, а потому, что войну проиграли. Да мы еще полчаса назад последние известия слушали. Когда стало ясно, что Гитлер жив и жаждет мести, Хирш ушел. А приемник тебе оставил.

– С тех пор больше ничего не передавали?

– Гитлер собирается выступить с речью. Будет убеждать народ, что его спасло провидение.

– А как же иначе. О фронтовых частях что-нибудь слышно?

Мойков помотал головой.

– Ничего, Людвиг. Война продолжается.

Я кивнул. Мойков посмотрел на меня.

– Ты, я погляжу, аж зеленый весь. С Робертом Хиршем я уже бутылку водки выпил. Но готов выпить с тобой еще одну. В такую ночь только последние нервы гробить. Или водку пить. Я протестующе поднял руки.

– Нет, Владимир. Я и так с ног валюсь. Но радио возьму. У меня в комнате, надеюсь, есть розетка?

– Она тебе не нужна. Это портативный приемник. – Мойков все еще не сводил с меня глаз. – Слушай, не сходи с ума, – сказал он. – Прими хотя бы глоток. И вот это. – Он раскрыл свою громадную ладонь, на которой лежали три таблетки. – Чтобы заснуть. Завтра утром сто раз успеешь выяснить, что правда, а что нет. Ты уж послушай совет престарелого эмигранта, который десять раз такие же надежды переживал и одиннадцать раз их хоронил.

– Думаешь, это тоже все пойдет прахом?

– Завтра узнаем. По ночам надежда приносит странные сны. Я-то знаю: даже убийца иной раз может показаться ангелом, ежели ратует за твое дело, а не против него. Лично я все эти игры давно бросил и предпочитаю снова верить в десять заповедей. Хотя и они, как известно, весьма далеки от совершенства.

Из полутьмы возникла женская тень. Это была очень старая дама, ее серая иссохшая кожа напоминала мятую пергаментную бумагу. Мойков встал.

– Вам что-нибудь нужно, графиня?

Тень истоиво закивала.

– Сердечные капли, Владимир Иванович! Мои все вышли. Ох уж эти июльские ночи! Никак не заснешь. Они напоминают мне летние ночи пятнадцатого года в Петербурге. Бедный царь!

Мойков протянул ей маленькую бутылочку водки.

– Вот ваше сердечное, графиня. Спокойной ночи. Спите хорошенько.

– Попытаюсь.

Тень, шурша, удалилась. На ней было очень старомодное кружевное платье с рюшами.

– Она живет только прошлым. После революции семнадцатого время для нее остановилось. Она тогда и умерла, просто не знает об этом. – Он снова внимательно взглянул на меня. – Слишком много всего случилось за эти последние тридцать лет, верно, Людвиг? А справедливости в кровавом прошлом нет. И быть не может. Иначе пришлось бы истребить половину человечества. Ты уж поверь мне, старику, который когда-то думал так же, как ты.

Я взял приемник и пошел к себе в комнату. Окна были распахнуты. На ночном столике стояла китайская бронза. Как же давно все это было, подумал я. Я поставил приемник рядом с вазой и стал слушать новости, которые передавались нерегулярно и пулеметной скороговоркой, в коротких паузах между джазовой музыкой и рекламой виски, туалетной бумаги, летних распродаж, бензина и фешенебельных кладбищ с сухой песчаной почвой и изумительными видами. Я пытался поймать какую-нибудь заокеанскую программу, Англию, Африку, и иногда это почти удавалось, я даже разбирал отдельные слова, но они тут же тонули в трескучих помехах – то ли шторм бушевал над океаном, то ли полыхали где-то за горизонтами грозы, а может, доносились отголоски далекой битвы. Я отошел и уставился в окно, в которое всеми своими звездами безмолвно и бездонно глядела июльская ночь. Потом снова включил приемник, окунувшись в мешанину из тупой рекламы и подлинного исторического трагизма, между

которыми жестяные металлические голоса не делали никаких различий, разве что реклама становилась все назойливей и громче, а новости все безотрадней. Покушение не удалось, в армии идут аресты мятежников, генералы против генералов, при этом партия убийц уже дискутирует новые методы зверств – подвергнуть заговорщиков очень медленному удушению через повешение или всего лишь обезглавить. Этой ночью Бога часто беспокоили мольбами; но он, похоже, твердо решил оставаться на стороне Гитлера. Совершенно разбитый, я заснул только под утро.

Уже днем я узнал от Мойкова, что один из постояльцев ночью умер – это был неприметный эмигрант, почти безвылазно и тихо сидевший у себя в номере. Звали его Зигфрид Заль, и умер он от инфаркта. Я его вообще ни разу не видел.

– Можешь занять его комнату, – сказал Мойков. – Она немного побольше твоей. И лучше. До ванной ближе. Цена та же.

Я отказался. Этого Мойков решительно не мог понять. Я, честно говоря, тоже.

– Вид у тебя отвратительный, – констатировал он. – Судя по всему, снотворное тебя не берет.

– Почему же, обычно берет.

Он глянул на меня неодобрительно.

– В твои годы я тоже частенько подумывал о своей личной мести и своей личной справедливости, – сказал он. – А сегодня, вспоминая себя тогдашнего, кажусь себе ребенком, который после свирепого землетрясения спрашивает, куда подевался его любимый мячик. Ты меня понял, Людвиг?

– Нет, – ответил я. – Но чтобы ты не думал, будто я окончательно свихнулся, я беру комнату Зигфрида Залья.

Я подумал, не позвонить ли Роберту Хиршу. Но мне вдруг почему-то расхотелось снова обсуждать покушение. Оно не удалось, и ничего в мире не изменилось. А значит, и говорить было не о чем.

## VI

Я принес Силверу его бронзу.

– Это не копия, – сказал я.

– Ну и хорошо. Я с вас все равно ни гроша выше первоначальной цены не возьму, – возразил он. – Что продано, то продано. Мы люди честные.

– И все-таки я вам ее возвращаю.

– Но почему?

– Потому что хочу проверить с вами сделку.

Силвер полез в карман, извлек оттуда десятидолларовую банкноту, поцеловал и засунул в другой карман пиджака.

– На что вас пригласить?

– По какому случаю?

– Я заключил с братом пари, вернете вы бронзу или нет. Я выиграл. Как насчет того, чтобы выпить кофейку? Но не американского, а чешского? Американцы варят кофе до полного уничтожения вкуса и запаха. В чешской кондитерской, что напротив, так не делают. Они кофе помешивают, не доводя до кипения, тогда он не теряет свежести и аромата.

Мы перешли шумную, оживленную улицу. Поливальная машина мощными струями воды прибавала пыль. Фиолетовый фургон доставки детских пеленок чуть было не раздавил нас. Силвер увернулся от него в рискованном и по-своему грациозном пируэте. Сегодня к своим лакированным штиблетам он надел желтые носки.

– Так какую сделку вы надумали со мной проверить? – любопытствовал он, когда мы уже сидели в кондитерской, благоухавшей ароматами пирожных, кофе и какао.

– Хочу вернуть вам бронзу, а прибыль поделить, сорок на шестьдесят. Шестьдесят мне.

– Это у вас называется поделить?

– У меня это называется щедро поделить.

– С какой стати вы вообще предлагаете мне войти в долю, если уверены, что бронза подлинная?

– По двум причинам. Во-первых, мне ее не продать. Я никого здесь не знаю. Во-вторых, я ищу место. И не простое, а особенное: временную работу для человека, не имеющего права работать. Одним словом, работу для эмигранта.

Силвер поднял на меня глаза.

– Вы еврей?

Я кивнул.

– Беженец?

– Да. Но у меня есть виза.

Силвер задумался.

– И что бы вы хотели делать?

– Да все, что вам угодно. Убирать, каталогизировать, порядок наводить – любую нелегальную работу. На несколько недель всего, пока я не подыщу что-то еще.

– Понимаю. Предложение необычное. Вообще-то у нас огромный подвал под магазином. И там полно всякого хлама, мы сами толком не знаем, что там валяется. Вы что-нибудь смыслите в этом деле?

– Кое-что. Думаю, на разборку и каталогизацию меня хватит.

– Где вы учились?

Я достал свой паспорт. Силвер глянул на графу «Профессия».

– Антиквар, – сказал он. – Так я и думал! Коллега, значит. – Он допил свой кофе. – Пожалуй, вернемся в магазин.

Мы снова перешли улицу. После поливальной машины она уже почти успела высохнуть. Солнце пекло, в воздухе парило и воняло выхлопными газами.

– А бронза – это ваш конек? – спросил Силвер.

Я кивнул.

– Бронза, ковры, ну и еще кое-что – по мелочи.

– Где вы учились?

– В Брюсселе и Париже.

Силвер предложил мне черную тонкую бразильскую сигару. Ненавижу сигары, тем не менее я ее взял.

Я распаковал бронзовую вазу из пергаментной бумаги и еще раз посмотрел на нее при свете солнца. На короткий миг во мне снова всколыхнулась паническая тоска безмолвных ночей в гулких залах музея; я поставил вазу на столик возле витрины.

Силвер наблюдал за мной.

– Я скажу вам, что мы можем сделать, – заявил он наконец. – Я покажу эту бронзу владельцу «Лу энд Компани». Он, сколько мне известно, на днях как раз возвращается из Сан-Франциско. Сам-то я мало что в этом понимаю. Согласны?

– Согласен. А как насчет работы? Разборка, каталогизация?

– Что вы скажете об этой вещи? – спросил Силвер, указывая на столик, куда я поставил бронзу. – Хорошая, плохая?

– Посредственный Людовик Пятнадцатый, вещь провинциальная, старая, бронзовая отделка новая, – отчеканил я, в глубине души благословляя покойного Зоммера, который, как и всякий истинный художник, любил старину.

– Неплохо, – похвалил Силвер, поднося мне огня для моей бразильской сигары. – Вы знаете больше меня. По правде говоря, нам этот магазин по наследству достался. Нам – это моему брату и мне, – пояснил он. – Мы были адвокатами. Но адвокатская жизнь не для нас. Мы люди честные, не какие-то крючкотворы. А магазин получили всего несколько лет назад и еще много чего не знаем. Но нам нравится! Это все равно что жить в цыганской кибитке, только кибитка стоит на месте. И даже кондитерская есть напротив, откуда так удобно наблюдать за собственной лавочкой, спокойно поджидая клиентов. Вы меня понимаете?

– Еще как.

– Магазин стоит на месте, зато улица движется непрерывно, – продолжал Силвер. – Чистое кино. Тут всегда что-нибудь случается. Нам это занятие куда милей, чем защищать негодяев и вымогать согласия на разводы. Да оно и приличнее. Вы не находите?

– Безусловно, – откликнулся я, втайне дивясь адвокату, который считает торговлю искусством куда более честным ремеслом, чем право.

Силвер кивнул.

– У нас в семье я оптимист. Я Близнец, по гороскопу. А брат пессимист. Он типичный Рак. Магазином мы владеем вместе. Поэтому я еще должен посоветоваться с ним. Вы согласны?

– Как я могу не согласиться, господин Силвер?

– Хорошо. Зайдите дня через два, через три. Мы тогда и о бронзе будем знать поточнее. Сколько вы хотите получать за свою работу?

– Столько, чтобы хватало на жизнь.

– В отеле «Ритц»?

– В гостинице «Мираж». Там чуть-чуть дешевле.

– Десять долларов в день вас устроят?

– Двенадцать, – осмелел я. – Я заядлый курильщик.

– Но только на несколько недель, – предупредил Силвер. – Не дольше. В торговом зале нам помощь не нужна. Тут нам-то с братом вдвоем делать нечего. Вот почему в лавочке, как

правило, дежурит только кто-то один. Это тоже одна из причин, по которой мы за это взялись: мы хотим зарабатывать, а не урабатываться насмерть. Я прав?

– Конечно.

– Даже странно, как хорошо мы понимаем друг друга. А ведь почти не знакомы.

Я не стал объяснять Силверу, что, когда одна из сторон только поддакивает, взаимопонимание дается удивительно легко. В магазин зашла дама с перьями на шляпе. Она вся шуршала. Видимо, на ней было сразу несколько шелковых нижних юбок. Юбки шелестели и похрустывали. Дама была сильно накрашена и весьма овальных очертаний. Этаким пожилой постельный зайка с пудинговым лицом.

– У вас есть венецианская мебель? – поинтересовалась дама.

– Разумеется, и притом самая лучшая, – заверил ее Силвер, тайком давая мне знак удалиться. – До свиданья, граф Орсини, – обратился он ко мне чуть громче обычного. – Завтра утром мы доставим вам мебель.

– Но не раньше одиннадцати, – предупредил я. – От одиннадцати до полудня в «Ритц». Au revoir, mon cher.

– Au revoir<sup>20</sup>, – ответил Силвер с сильным акцентом. – В одиннадцать тридцать, как часы.

– Хватит! – не выдержал Роберт Хирш. – Хватит с нас! Ты не возражаешь?

Он выключил телевизор. Самоуверенный диктор с ослепительными зубами и жирным лицом вещал с экрана о событиях в Германии. Мы о них уже слышали по двум другим программам. Самодовольный, сытый голос стал затихать, а изумленное лицо провалилось в темноту, накотившую от краев экрана к центру.

– Слава Богу! – выдохнул Хирш. – Главное достоинство этих ящиков в том, что их всегда можно выключить.

– Радио лучше, – заметил я. – Там по крайней мере не видишь диктора.

– Ты хочешь послушать радио?

Я покачал головой.

– Уже ни к чему, Роберт. Все сорвалось. Не воспламенилось. Это была не революция.

– Это был путч. Военными затеянный, военными подавленный. – Хирш смотрел на меня своим светлым, полным холодного отчаяния взглядом. – Это был мятеж в своем кругу, среди специалистов. Они поняли, что война проиграна. Хотели спасти Германию от разгрома. Это был патриотический мятеж, не человеческий.

– Эти вещи нельзя разделять. К тому же это был мятеж не одних военных, там и штатские были.

Хирш помотал головой.

– Можно разделять, еще как можно! Продолжай Гитлер побеждать на всех фронтах, и ничего не случилось бы. Это был не мятеж против режима головорезов – это был мятеж против режима банкротов. Они восстали не против концлагерей, не против того, что людей тысячами сжигают в крематориях, – они подняли мятеж, потому что Германия в опасности.

Мне было жаль его. Хирш мучился иначе, чем я. Его жизнь во Франции в куда большей степени вдохновлялась смесью праведного гнева, сострадания и жажды приключений, чем просто моралью и пошатнувшимся мировоззрением. На одной морали он бы далеко не уехал – мигом угодил бы в ловушку. А так он, сколь это ни странно, в чем-то оказывался с нацистами почти на родственном поприще, только превосходя их. Нацисты, хоть и лишенные совести, все равно оставались моралистами, ибо были навьючены мировоззрением – гнусной черной моралью и кровавым черным мировоззрением, пусть оно и сводилось к слепому рабскому послушанию и всемогуществу любого приказа. По сравнению с ними Хирш даже имел пре-

---

<sup>20</sup> До свиданья, мой дорогой. – До свиданья (фр.).



имущество: вместо полной боевой выкладки у него за плечами был легкий полевой ранец, и он следовал только голосу своего разума, стараясь не поддаваться под губительное воздействие эмоций. Недаром он вышел из народа, который науки и философию почитал с незапамятных времен, когда нынешние его гонители еще с деревьев не слезли. Он обладал преимуществом живого и подвижного ума – покуда ему удавалось вытеснить из сознания историческую память своего народа, вобравшую в себя два с половиной тысячелетия гонений, страданий и смирения. Ощути, вспомни он тогда в себе эту память – он тут же поплатился бы за это своей уверенностью, а вместе с ней и жизнью.

Я смотрел на Роберта. Лицо его казалось спокойным и собранным. Но точно такой же спокойный вид был в Париже у Йозефа Бэра, когда я слишком устал, чтобы ночь напролет проговорить с ним за бутылкой. А наутро Бэра нашли в его камерке повесившимся под оконным карнизом: ветер раскачивал тело и лениво пристукивал створкой окна, как сонный пономарь, бубнящий зауспокойную молитву. Кто лишился корней, тот ослаблен и подвержен напастям, которых нормальный человек и не заметит. Особенно опасным становился разум, работающий вхолостую, как жернова мельницы без зерна. Я это знал; вот почему после всех переживаний минувшей ночи почти силой вернул себя в состояние усталого и смиренного забвения. Кто научился ждать, тот надежнее защищен от ударов разочарования. Но ждать Хирш никогда не умел.

К этому добавлялся еще и своеобразный комплекс кондотьера. Хирша мучило не только то, что покушение и мятеж сорвались, – он не мог примириться с тем, что все это было так неумело, так по-дилетантски сделано. Его распирало возмущение профессионала, углядевшего грубую ошибку.

В магазин вошла краснощекая домохозяйка. Ей требовался тостер с автоматическим отключением. Я наблюдал, как Хирш демонстрирует ей поблескивающий хромом электроприбор. Он был само терпение и даже сумел всучить даме вдобавок к тостеру еще и электрический уют; тем не менее как-то не верилось, что он сделает карьеру коммерсанта.

Я смотрел в окно. Это был час бухгалтеров. В данный момент они всегда шли обедать в драгсторы. Недолгий час освобождения, когда из клеток своих контор, продуваемых всеми сквозняками воздушного охлаждения, бухгалтеры вырывались на волю и мнили себя на два платежных разряда выше, чем было на самом деле. Они проходили решительно, самоуверенными группками, полы пиджаков вальяжно колыхались на теплом ветру, проходили, громко болтая, полные обеденной жизни и убежденности в том, что, существуя на свете справедливость, им бы давно полагалось быть шефами.

Стоя рядом, Хирш тоже смотрел на них из-за моего плеча.

– Это парад бухгалтеров. Часа через два начнется парад жен. Они разом выпорхнут и станут летать от витрины к витрине, от магазина к магазину, будут донимать продавцов, ничего не покупая, болтать друг с дружкой, сплетничать, обсуждать последние слухи, которыми их исправно пичкают газеты, и при этом неукоснительно соблюдать простейшую иерархию денег: самая богатая всегда посередке, а две спутницы поскромнее эскортируют ее с флангов. Зимой это заметно с первого же взгляда по шубам: норка в центре, два черных каракуля по сторонам – и вперед, тупо и целеустремленно. Их мужья тем временем с еще большей целеустремленностью зашибают доллары, наживая себе ранний инфаркт. Америка – страна богатых вдов, которые, впрочем, очень быстро снова выскакивают замуж, и молодых мужчин, бедных и жадных до всего. Вот так и вертится вечный круговорот рождений и смертей. – Хирш засмеялся. – Да разве можно сравнить такую, с позволения сказать, жизнь с полным приключений и риска существованием блохи, что переносится с планеты на планету, то бишь с человека на человека и с собаки на собаку, или с путешествиями саранчи, что перелетает целые континенты, не

говоря уж о жюль-верновских переживаниях комара, когда его из Центрального парка забрасывает на Пятую авеню.

Кто-то постучал в окно.

– Началось воскресение из мертвых, – сказал я. – Это Равич. Или его брат.

– Да нет, это он сам, – возразил Хирш. – Он уже давно здесь. Ты не знал?

Я покачал головой. В Германии Равич был известным врачом. Он бежал во Францию, где ему пришлось нелегально работать помощником у куда менее одаренного французского врача. Я познакомился с ним в ту пору, когда он вдобавок подрабатывал медосмотрами в самом большом из парижских борделей. Он был очень хорошим хирургом. Обычно начинал операцию врач-француз, он оставался в операционной, пока пациенту делали наркоз, а уж потом входил Равич и проделывал все остальное. Он не находил в этом ничего зазорного, только радовался, что у него есть работа, что он может оперировать. Это был хирург от Бога.

– Где же ты сейчас-то работаешь, Равич? – спросил я. – И как? Ведь в Нью-Йорке официально нет борделей.

– Работаю в госпитале.

– По-черному? Нелегально?

– По-серому. Так сказать, квалифицированный вариант сиделки. Мне нужно еще раз сдавать экзамен на врача. На английском языке.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.